

O.C.

Ольга Седакова

.....

СТИХИ

ПЕРЕВОДЫ

POETICA

MORALIA

Ольга Седакова

.....

СТИХИ

★

Электронное издание

Настоящее электронное издание предоставляется для бесплатного личного некоммерческого использования. Цитирование допускается с обязательным указанием имени автора и источника.

Электронный файл воспроизводит авторский макет печатного издания. Библиографическое описание оригинальной публикации приводится ниже в справочных целях.

Седакова Ольга Александровна

Четыре тома. Том I. Стихи

М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. 432 стр.

Это издание – к настоящему времени самое обширное (хотя не полное) собрание сочинений Ольги Седаковой. «Стихи», «Переводы», «Poetica» и «Moralia» представляют четыре вектора, по которым движется одна творческая стихия. За пределами этого издания остаются еще несколько областей ее работы: повествовательная проза, лекционные курсы, стихи и проза для детей, словарь церковнославяно-русских паронимов и труды по славянским древностям.

Всё, что пишет Ольга Седакова, отмечено даром внутренней свободы – той «нравственной свободы», которую Мандельштам считал отличительным «даром русской земли». Ее пафос – решительное неприятие безнадежности и фатализма, которые новейшая мысль и новейшее искусство предлагают человеку как единственно возможную и уже по-своему комфортную позицию. Две контрастные энергии – требовательной трезвости и доверительного восхищения – питают творчество Ольги Седаковой. Она говорит о красоте разума и о власти счастья – о том, что, по мнению автора, составляет «формообразующую тягу искусства».

В первый том вошли почти все написанные до настоящего момента стихи. За небольшой подборкой ранней поэзии следуют в хронологическом порядке двенадцать книг в их полном составе: «Дикий шиповник» (1976–1978), «Тристан и Изольда» (1978–1982), «Старые песни» (1980–1981), «Ворота. Окна. Арки» (1979–1983), «Стансы в манере Александра Попа» (1979–1980), «Стелы и надписи» (1982), «Ямбы» (1984–1985), «Китайское путешествие» (1986), «Недописанная книга» (1990–2000), «Вечерняя песня» (1996–2005), «Элегии» (1987–2004), «Начало книги».

© Седакова О.А., 2010

© Райхштейн А.А., оформление, 2010

Содержание

ИЗ РАННИХ СТИХОВ

Однажды, когда я умру до конца...	17
Шиповник ·	18
Датская сказка ·	19
Я жизнь в порыве жить...	20
In расе ·	21
Детство ·	22
Липа. На тему Шуберта ·	23
Подражание восточному ·	24
Я имя твоё отложу про запас...	25
В это зыбкое скопление...	26
Неужели, Мария, только рамы скрипят...	27
Не поминай ко сну...	28
Баллада ·	29
Когда говорю я: помилуй! люблю...	31
Гости в детстве ·	32
Где тени над молью дежурят...	33
Как не дрогнувши вишни потрогать?..	34
Московские картинки ·	35
Ветхозаветный мотив ·	38
Успение ·	39
Проклятый поэт ·	40
Сказочка ·	42
Плач ·	44
Памяти одной старухи ·	45
Только время доходит сюда – и тогда...	46

- В незапамятных зимах, в неназванных... 47
Миньона · 48
Юдифь · 50
Три богини · 51
Актеон · 53
Филемон и Бавкида · 54
Первая легенда. Святой Юлиан на охоте · 55

ДИКИЙ ШИПОВНИК

Легенды и фантазии
1976 – 1978

I

- Дикий шиповник · 59
Легенда вторая · 60
Легенда шестая · 62
Легенда седьмая. Смерть Алексия, Римского Угодника · 63
Selva selvaggia. Триптих из баллады, канцоны и баллады
I. Проводы · 65
II. Возвращение блудного сына · 66
III. Баллада продолжения · 70
Прощание · 72
То в теплом золоте, в широких переплетах... 74
Предпесня · 75
Странное путешествие · 76
Побег блудного сына · 78
Легенда девятая. Отпевание монахини · 80
Сретение · 81

Первый музыкальный антракт

- Летят имена из волшебного рога... · 84
Кот, бабочка, свеча · 85

Содержание

Пение · 89

Вода-крестьянка · 91

Нелирическое отступление

Восемь восьмистиший · 92

В духе Леопарди · 95

II

Две книги я несу, безмерно уходя... 97

Медленно будем идти и внимательно слушать.... 98

Мне часто снится смерть и предлагает... 99

Преданья о подвижниках похожи... 100

Ни ангела, звучащего, как щель... 101

Три зеркала · 102

1. Женщина у зеркала · 102

2. Старый дом · 103

3. Пророк · 104

Ветер прощанья · 106

Где-нибудь в углу запущенной болезни... 107

Болезнь · 108

Путешествие волхвов · 111

Горная колыбельная · 114

Утро в саду · 116

Второй музыкальный антракт

Взгляд кота · 117

Азаровка. Сюита пейзажей · 119

1. Родник · 119

2. Поляна · 119

3. В кустах · 120

4. Ивы · 120

5. Холмы · 121

6. Высокий луг · 121

7. Деревня · 122

8. Вещая птица · 123

9. Лесная дорога · 123

10. Овраг · 124

11. Небо ночью · 124

12. Сад · 125

III

Портрет художника на его картине · 126

Легенда десятая. Иаков · 130

Легенда одиннадцатая. Ужин · 131

Легенда двенадцатая. Сергей Радонежский · 132

Алатырь · 134

Сказка · 136

Сновидец · 138

Как упавшую руку, я приподнимаю сиянье... 140

Постскриптум

Старый поэт · 141

ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА

1978–1982

Вступление первое · 145

Вступление второе · 148

Вступление третье · 150

1. Рыцари едут на турнир · 152

2. Нищие идут по дорогам · 154

3. Пастух играет · 156

4. Сын муз · 157

5. Смелый рыбак. Крестьянская песня · 160

6. Раненый Тристан плывет в лодке · 162

7. Утешная собачка · 164

8. Король на охоте · 167

9. Карлик гадает по звездам. Заодно о проказе · 169
10. Ночь. Тристан и Изольда встречаются в лесу отшельника · 171
11. Мельница шумит · 173
12. Отшельник говорит · 175

СТАРЫЕ ПЕСНИ

1980–1981

Первая тетрадь

1. Обида · 179
2. Конь · 180
3. Судьба · 182
4. Детство · 183
5. Грех · 184
6. Человек он злой и недобрый... 185
7. Утешенье · 186
8. Спор · 187
9. Просьба · 188
10. Слово · 189

Вторая тетрадь

1. Смелость и милость · 190
2. Походная песня · 191
3. Неверная жена · 192
4. Уверение · 193
5. Колыбельная · 194
6. Возвращение. Стих об Алексее · 195
7. Желание · 196
8. Зеркало · 197
9. Видение · 198
10. Дом · 199
11. Сон · 200
12. Заключение · 201

*Стихи из второй тетради,
не нашедшие в ней себе места*

Пир · 202

Другая колыбельная · 203

Старушки · 204

Бусы · 205

Путешествие · 206

Третья тетрадь

1. Пойдем, пойдем, моя радость... 207

2. Что же я такое сотворила... 208

3. Женская доля – это прялка... 209

4. Кто родится в черный понедельник... 210

5. Как из глубокого колодца... 211

6. Были бы мастера на свете... 212

7. По дороге длинной, по дороге пыльной... 213

8. Ты гори, невидимое пламя... 214

9. Обогрей, Господь, Твоих любимых... 215

Прибавления к «Старым песням»

Посвящение · 216

Плакал Адам, но его не простили... 217

Холод мира... 218

ВОРОТА. ОКНА. АРКИ

1979–1983

Давид поет Саулу · 221

Семь стихотворений · 224

Горная ода · 231

Маленькое посвящение Владимиру Ивановичу Хвостину · 236

Последний читатель · 237

Статуэтка слона · 239

Ночное шитье · 241

Содержание

Кузнечик и сверчок ·	243
Осень, огонь и путник ·	245
Вьюга ·	247
Ни темной старины заветные преданья ·	249
Сельское кладбище ·	250
В психбольнице ·	252
В винном отделе ·	253
Лицинию ·	255
Елене Шварц ·	256
На смерть Владимира Ивановича Хвостина	
1. Кончен труд, мой бедный, кончен труд...	257
2. В пустыне жизни...	258
На смерть Леонида Губанова ·	260
Встреча ·	261
Весна ·	262
Золотая труба. Ритм Заболоцкого ·	264
Сказка, в которой почти ничего не происходит ·	266
СТАНСЫ В МАНЕРЕ АЛЕКСАНДРА ПОПА	
1979–1980	
Стансы первые ·	275
Стансы вторые. На смерть котенка ·	279
Стансы третьи. Вино и плавание ·	283
Стансы четвертые. Памяти Набокова ·	287
Кода ·	292
СТЕЛЫ И НАДПИСИ	
1982	
Мальчик, старик и собака ·	295
Женская фигура ·	297
Две фигуры ·	298
Госпожа и служанка ·	299

Кувшин, надгробье друга · 300

Играющий ребенок · 301

Надпись · 302

ЯМБЫ

1984–1985

Пятые стансы. De arte poetica · 305

Элегия, переходящая в реквием · 309

Безымянным оставшийся мученик · 317

Из песни Данте · 319

Элегия липе · 322

КИТАЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

1986

1. И меня удивило... 327

2. Пруд говорит... 328

3. Падая, не падают... 329

4. Там, на горе... 330

5. Знаете ли вы... 331

6. Только увижу... 332

7. Лодка летит... 333

8. Крыши, поднятые по краям... 334

9. Несчастен... 335

10. Велик рисовальщик, не знающий долга... 336

11. С нежностью и глубиной... 337

12. Может, ты перстень духа... 338

13. Неужели и мы, как все... 339

14. Флейте отвечает флейта... 340

15. По белому пути, по холодному звездному облаку... 341

16. Ты знаешь, я так тебя люблю... 342

17. Когда мы решаемся ступить... 343

18. Похвалим нашу землю... 345

НЕДОПИСАННАЯ КНИГА

1990–2000

Бабочка или две их · 349

Варлаам и Иоасаф · 351

Хильдегарда · 355

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

1996–2005

Все труды... 359

Деревья, сильный ветер · 360

Четыре восьмистишия

1. В неизвестной высоте небесной... 362

2. Песенка · 363

3. В.В.Бибихину · 364

4. И не как свет · 365

Вечерняя песня · 366

Вениамин · 368

Колыбельная · 370

Деревня в детстве · 372

Памяти отца Александра Меня · 374

ЭЛЕГИИ

1987–2004

Элегия осенней воды · 377

Элегия смоковницы · 381

Земля · 384

Начало · 386

Музыка · 388

Памяти поэта · 391

НАЧАЛО КНИГИ

Три стихотворения

Иоанну Павлу II

1. Дождь · 399

2. Ничто · 400

3. Sant Alessio. Roma · 401

Письмо · 403

Колыбельная · 406

Портрет художника в среднем возрасте · 407

В метро. Москва · 409

Цивилизация · 410

Луг, юго-западный ветер · 411

Aut nihil · 413

Ангел Реймса · 414

Всё, и сразу · 416

Перевод иноязычных текстов · 417

Алфавитный указатель стихотворений · 419

.....

ИЗ РАННИХ СТИХОВ

.....

* * *

Однажды, когда я умру до конца
и белый день опадет с лица,
услышу я, как спросонок:
по тонким дранкам заборов моих
бежит, спотыкаясь, веселый мотив:
их трогает палкой ребенок.

И каждая нота в мотиве таком
сама по себе и к тому же с ледком,
как буквы в Клину и Коломне...
И буду я думать: играй же, играй
про отчий мой край,
про чуждый мой край,
про то, что я знаю, а ты не узнай –
про то, что никак не припомню.

1967

Шиповник

Душа воспитала шиповник,
как братьев его – чернозем.
Когда вас никто не упомнит,
шиповник помянет добром.

Вы знаете правду другую.
Но вы не слышали о том,
что отперли клетку грудную
и пролили воду со льдом.

И если пустот не заполнит
твой запах, твой шаг во дворе,
душа воспитала шиповник
на пляски и дом мошкаре.

1967

Датская сказка

Полночные капли гурьба за гурьбой
гудели у стекол:
сестрица, а кто там?
Там старый поэт. Он в кресле потертом
горюет над чьей-то бездомной судьбой.

Скрип-скрип, он один и не в тягость себе
и может припомнить соленое море,
верблюдов на желтом в округлом узоре
и дерна клочок из далеких степей.

Стучат.
Но кого дожидаться ему?
И час наступил неурочный для друга,
и стонет под бурю тяжелой округа,
и тянет бедой в одиноком дому...

Но вот уже туфли шумят на пути
к холодным дверям,
к ревущему входу...
Так хочется делать добро в непогоду,
хоть собственный скорый конец приюти!

1967

* * *

Я жизнь, которая хочет жить
в живом окружении
жизни, которая хочет жить.

А. Швейцер

Я жизнь в порыве жить.
Из горла закипая,
побегом выбегаю
к живым в порыве жить.

Сквозняк за рукавом.
Я с верхнего регистра
качу, цепляя искры
в растущий острый ком.

Играет угольком
погоня за гоненьем.
Я жизнь. Я непощенье
в порыве жить в живом.

1971

In pace

Где победитель ляжет без вести,
упав, как маленький, ничком
в пласты сбивающейся извести,
на напряженное плечо,

там жилисто навстречу тяжести
поднимется ветла отцов:
вся в гнездах чести, в небе зависти,
вся в писке мусоргских птенцов.

1971

Детство

Ночью к нам в гости – башни китайские:
кремлевские бойницы на прищур остры.
Отряхнули на соборы яблочки райские,
покатили в подворотни гулкие шары.

Покатили – забыли. Ждут себе, на нас кивая:
красные буквы, локоть золотой...
Лиза, Лизанька, дурочка таганская,
поздно уже. Рано еще смеяться надо мной.

1972

Липа

На тему Шуберта

1

Про елку-чернавку, про иву-голубку
и может, про липу одну
задумано сердце, и сытую губку
легко угнетает ко дну.

И темная выжимка ляжет поправкой
на долгой воде ключевой
для ивы-голубки, для елки-чернавки
и может, для липы одной.

2

Выпьем память дивной липы,
той, что нас пережила,
той, что локтем справедливым
нас отерла со стекла.

Это выход из преданья,
вход в имперский городок.
Это наши оправданья
заглушающий смычок.

1972

Подражание восточному

Черной раковиной с кромкой,
черной шалью костяной
обернись, душа пророка!
Увлажнили флейты око,
слух насытился хурмой.

И, душе моей ликуя,
все подлунные дела,
как жемчужницу пустую,
кинет под ноги Алла!

1972

* * *

Я имя твое отложу про запас,
про святочный сон в золотой канители:
судьба удалась, и пурга улеглась,
играют огни, созревают свирели,

восходит сокровище крови моей,
глухое сиротство, куда обогреться,
закутавши хворые ветки в тряпье,
приходят деревья путем погорельцев.

1972

* * *

В это зыбкое скопление,
в комариные столпы,
в неразборчивое тленье
истолченной скорлупы

ты идешь, как содроганье
по листве старинных ив,
мошканы не раздвигая,
луч лучами не прикрыв.

Что душа? несчастный случай,
птичий гай и дачный сон.
Но столбняк ее летучий
жестким золотом пронзен.

1973

* * *

Неужели, Мария, только рамы скрипят,
только стекла болят и трепещут?
Если это не сад –
разреши мне назад,
в тишину, где задуманы вещи.

Если это не сад, если рамы скрипят
оттого, что темней не бывает,
если это не тот заповеданный сад,
где голодные дети у яблонь сидят
и надкушенный плод забывают,

где не видно ветвей,
но дыханье темней
и надежней лекарство ночное...
Я не знаю, Мария, болезни моей.
Это сад мой стоит надо мною.

1973

* * *

Не поминай ко сну
камфару, белизну,
мятный отвар загорьбя.
Это вечерний свет
пристален – и в ответ
пристальному – подробен.

Это из наших лет
в комнате будет свет,
путая расстоянья.
Но я войду при вас,
не поднимая глаз
и задержав дыханье.

1973

Баллада

Он в чашу вступает. И кланяясь в пояс,
рассказ раздвигает ольховую поросль,
где глубже походка и ближе дыханье,
где душит черемуха и обожанье,
но каждый глядится в свои зеркала
и ткёт паутину земная хвала.

Он в чашу вступает. Но можно иначе:
раздвинулся горестный рот лягушачий,
кукушка тоскует и гибели просит,
но гибель чужую из горлышка бросит,
не бросит – доносит до верного дня.
И гуще брусничника гибель у пня.

Он в чашу вступает. Но душу живую
не время вести на тропинку кривую,
не время искать за ольхой и у елки,
не время сверять перелетные толки,
не время. И времени нет нигде.
И дело идет к потемневшей воде.

– Зачем мои очи еще не устали
водой размываться, сливаться в печали
в такие же очи – и, к ряби ревнуя,
искать отраженья, как душу живую?
По сжатым губам пробегает река.
Но женская стать у его двойника.

1973

* * *

Когда говорю я: помилуй! люблю... —
я небом лукавлю, гортанью кривлю.

Но странная ласка стоит без касанья.
Так улицы старой ласкает название

и стонет душа, ни жива ни мертва,
стыдясь чародейства, боясь торжества.

1973

Гости в детстве

В двух шагах от притворенной
двери в детскую, за щель
шепчут стайкой оперенной
в крыльях высохших плащей.

Что ни скажут, позабудут.
Чем сулятся, не поймут.
Вместе выйдут, ливнем будут.
Только слова не возьмут.

И стоит оно слезами
изголовья моего:
словно ангелы сказали,
не забыв, для чего.

1973

* * *

Где тени над молью дежурят,
и живы еще за дверьми,
в широкую шубу чужую
меня до утра заверни.

Не знаю соседства пригожей
для жестких коленей и рук,
чем пыль меховая в прихожей
и медью обитый сундук.

Но слаще и меди, и пыли
под веками теплый свинец...
Кому меня здесь поручили?
Позволишь ли вспомнить, отец?

1973

* * *

Как не дрогнувши вишни потрогать?
Эти вишни дыханья темней
собирают и пробуют копоть
неизвестных и сжатых огней.

Собирают, но слаще и чище,
чем придумать позволено мне
в черенках и почтении птичьим,
в трепетанье, в ученье, во тьме.

1973

Московские картинки

Елене Игнатовой

1

Синица на изгороди.
Проталина на бугре.
В вязаной рукавице
обогретая денежка!
Вот что:
можно пойти посмотреть,
как бьет родничок апельсиновый
и осипшая газировка, а дальше
ничего не случится, не бойся.

2

Как от брошенной гальки,
пошла равнина кругами,
а крайний круг
неровный: вот обернется
темнотою, вздохом молочным.
Там капуста румянится в кадках и пенится
и зимуют греческие имена:
птицы, поранив крылья осокой,
не успели к отлету.
Так живей
запахивай полу озябшей рукой,

пока небритый хозяин
кричит с крыльца:
Евдокия!

3

Что поделаю я
с сердцем неграмотным,
как его научу
не кисти слушаться, а старого слова,
правды, окаменевшей, как известь
в монастырской стене,
где пчелиный труд киновии
давно заглох, а кисть
поет по извести:
И бесконечное
друг перед другом склонение,
и бесконечное
друг другом любование,
и бесконечное
хождение любви
по впадшему в забвенье кругу.

4

Карее золото,
накупленное серебро
перекидываю из руки в руку, думаю:
или пойти поменять?
или сестре подарить?
или в Язуз кинуть?
Нет, Господи, я не о том прошу.

5

Над кладкой особняка
клубится косяк теней
и с западным ветром уносится.
А я
с зеркальца сдуну пыль
и загляну:
то, что сходством зовется,
имя имеет: мечь.
И поцелую холодные губы.
Так-то. Мы еще здесь,
птицы-куницы.

6

— Обидели меня.
Улица кривая, переулок вверх.
Как мне домой без варежки?
Варежку подари, а я
буду за тебя молиться!
— Тень,
слабая, неокрепшая, еще не темней
фонаря, когда замечает вьюга
или веки слипаются! и я
помолилась бы за тебя Богородице:
не научили.

1974

Ветхозаветный мотив

В час молчания птиц и печали
бессловесных растений и рыб
различается зыбки качанье
и веревок раскачанных скрип.

Это пыль сновиденья густая,
под шагами не слышная пыль.
И качается зыбка пустая.
И над нею нагнулась Рахиль:

то забудется, горем наскучив,
то, очнувшись, клянет забытье
и, как в зеркало влаги текучей,
обезумев, глядится в нее.

Улыбаясь, качаются воды
и дивятся своей наготе...
Кто-то дышит и медлит у входа,
приучая глаза к темноте.

1974

Успение

О прошедшем ни слова. Но, сердце, куда мы пойдем
из гостей запоздалых, из темной целебной теплицы?
Под ресницами воздух и ветер и небо, как перед дождем.
И сбегается свет, но по имени кликнуть боится.

И выходит она в задохнувшийся, плачущий луг,
молода, молода, словно холод из жерла колодца.
И слабеет трава, и несправданных касается рук,
и почти у плеча драгоценная ноша смеется.

Задышается луг, и немеет, и сходит с ума
и, цепляя за локти ее, вымогает, как милость,
боль и легкую смерть и забвение. Только она
наклоняться к цветам и венки заплетать разучилась.

Значит, стоило молча сучить непомерную нить,
чтобы здесь, перевив с повиликой и диким укропом,
удержаться от жизни и, в слезах задыхаясь, обвить
эти щиколотки, эти узкие пыльные стопы.

1974

Прóклятый поэт

– Ты думаешь, блуждая по кругам
неравного страдания, я отдам
весь ад и грех за вечное забвенье?
Я был рожден, чтоб претворился срам
в божественную память поколенья.

Когда, один у матери моей,
я родился, погода у дверей
была подобна розе госпитальной.
И род услышал: Далее не смей,
здесь кровь нашла себе приют печальный.

Веками сотворенная печаль
пришлась по вкусу веку: *Fleurs du Mal*
залить слезами, пробежать страницы
в запретный сад, где высохла едва ль
одна слеза влюбленной ученицы.

И «К Лазарю» твердящие уста –
как Юлиан, приемлющий Христа,
когда проказа пахнет адской серой,
как на колени ставшая сестра
перед сестрой, *глумящейся над верой*.

Я рос, окутан нежностью двойной.
Ничто не обещало стать виной.

И только крови оглашенной речи
я выслушал, когда позвал *иной*,
и вышел на предложенную встречу.

.....

Но разве Тот, кто нам внушил, любя,
судьбу и тело, позабыв себя,
растопчет нас, как бабочку-поденку?
Не проклял, но глаза отвел, скорбя,
от злого и любимого ребенка.

И это было то, что ты зовешь
грехом и мукой, что внушает дрожь
и осуждение вечное пророчит,
когда ты чуждый голос разберешь
в многоголосье злоязычной ночи.

Но разве мука – то, что я терплю?
Мне кажется, я не раздевшись сплю,
и вот рожок сыграет пробуждение.
Умытым словом, горестным *люблю*
я с губ сотру ночное наваждение.

Гляди: неподалеку от села
лесник проснулся. У него дела:
простукивать и слушать бор словый.
Он вглубь уходит, и земля тепла.
И сердцевина каждого ствола
звучит и плачет: Боже, я здорова!

Сказочка

Спи, а мы поговорим.
Три восточные царя
водят пальцем по бумаге
и, губами шевеля,
слог приклеивают к слогу:
слог, похожий на дорогу.
Небо связное горит,
как арабский алфавит.

Спи, дорога далека.
Гласный гласному кивает,
слово дышит глубоко
между связок, перстневидным
забавляется хрящом:
слышен треск кнутов пастушьих,
виден блеск звонков верблюжьих
над расширенным песком.

Спи, доедем до утра.
Доживем до продолженья,
где рука в любом движенье
не смеется над собой;
где не будем для усмешки
губ от речи отрывать:
нужно слово пеленать

сном, терпеньем и здоровьем
и дыханием воловьим,
нужно спать.

Нужно спать уже, звезда
засыпая развернулась
перед входом на восток,
как летающий цветок.

1975

Плач

Вот она, строгая жизнь, посмотри, на прорехе прореха,
зеркало около губ, эхо, глядящее в эхо.

И сухие глаза закрывая, волосок к волоску подбирая,
трудные швы тербит и кивает, себя обрывая...

Как ты уйдешь от меня, по-другому живая?

Не покидай, говорю, я еще и еще залатаю.

Видишь, как сыплется ветхая ткань, как иголка дрожит

золотая...

— Что мне за дело? я слышу слова, но уже не сыщу утешений,
только на цыпочки встану и шарю вверх,

и летят из распахнутой тени

стаи щебечущих, плачущих, беглых и пьющих растений...

1975

Памяти одной старухи

Евгении Пахаревой

О жизни линиялой, о блюдце разбитом, о лестнице шаткой...
А там, говорит, темнота, но она не мешает, она не мешает.
Нас мало кто видит, а мы наблюдаем украдкой,
как век коротают, как крошки в ладонь заматают.

Мне время язык развязало, но губ не разжало.
Так дай мне пройти, не тревожа жужжащего мрака.
Кто выберет слово, тот ахнет, и выдернет жало,
и сердце попросит земли, как пчелиная ранка.

А там, говорит, темнота, и не знают глаза человечьи,
какие птенцы под окном, и зачем они бьются
и просятся в окна, и сладко так, сладко щебечут
о лестнице шаткой, о жизни, о жизни, о блюдце.

1975

* * *

Только время доходит сюда — и тогда
только жалость свистит над травой.
Как давно я лежу! ни огня, ни следа.
Что же сердце бежит от себя, как живое?

Ни огня, ни следа, только ветер привык
узнавать и мешаться с травой.
И не слезы в глаза, не слова на язык,
это сердце выходит к тебе, как живое.

1975

* * *

В незапамятных зимах, в неназванных,
в их ларцах, полюбивших молчать,
как зрачок в роговицах топазовых,
будет имя твое почивать.

И рукой, опустевшей от опыта,
я нашарю в шкатулке ночной
все, что роздано было и отнято,
все, что было и стало тобой.

1975

Миньона

Есть говоренье о конце –
как будто насмех при скупце
кидать монеты в воду.
Мой друг, растянем эту сладсть!
достанет слов, чтобы не впасть
в молчанье и свободу.

Не замолчать: такая тьма
в молчанье! выжить из ума
от состраданья – или
от тяготенья век спустя
к тому, с кем общее дитя
до двери проводили.

Я вижу сад и общий сон,
где каждый плод позолочен,
как перстень обручальный,
смолы врачующий наплыв,
сучок обломанный, мотив,
подхваченный случайно:

– Отец, найди мне посошок!
Ни зги в прошедшем и зрачок,
расширенный от страха.
И столько праха на губах,

как будто сели сорок прях
за смертную рубаху.

И, плача, видели друзья,
как спотыкаясь и скользя
бредет мое дыханье
в исток стыдящийся ключа,
в горячий корешок луча,
в рожок повествованья.

И я пойду, как жизнь и стих,
среди попутчиков святых,
но сторонясь и пряча
лицо, любимое толпой,
лицо, забытое тобой,
как лишняя удача.

1975

Юдифь

- Должно быть, яд в тебя вошел
и смерть твоя в дверях.
- Должно быть, яд в меня вошел
и смерть моя в дверях,

но прежде чем уйти во тьму
и лечь к народу моему —
клянусь! — я буду не одна.

И вот она,
как дождь, идет
в саду младенчества
и рвет
в ветвях висящий дом.
И степь доходит до колен
и все, что было серебром,
здесь только звон и плен.

И сон, и звон, и тлен.

И вышел он, и встал в дверях:
Желанна ты в моих глазах.

1975

Три богини

По стране давнопрошедшей
ходит память и не знает,
кем назваться, как виниться
и в какую дверь стучать...

Спит ребенок в колыбели
пестрой, ивовой, плетеной,
и не спит его отец.
Говорит он: «Слушай, Хлоя,
снится мне или не снится?
Трех сиделок неизвестных
вижу я над колыбелью,
вижу ясно, как тебя».

И одна глядит открыто,
и глаза ее светлее,
чем бесценное оружие.

У другой живая влага
между веками: такая
в роднике, в овраге тайном,
где, судьбы своей не зная,
пьет подслеженный олень.

Третья глаз не поднимает,
непокрытая, как роза.

Сердце, сердце, что с тобой?
Сердце, или ты забыло,
как тебя в загробный погреб
уводили, и в слезах
ты твердило: если снова
позовут меня родиться,
я возьму судьбу другую.
Пусть она пройдет в работах
и в пастушеской одежде.
Пусть уйдет она без боли,
как улыбка с губ уходит...

Для чего же ты велишь,
чтоб ребенок засмеялся
и нашел глазами третью
и слова проговорил:
Я тебе хочу служить,
золотая Афродита!

1975

Актеон

Когда, раздвигая языческий лес,
охотница выйдет на воздух открытый,
и тени сбегают, как влага с небес,
и время шуршит под подошвой разутой,
спроси, как душа ее в своре неслась,
как кровью влюбленной земля напилась.

Светлее, чем камень со дна родника,
поднимет глаза уберегшейся лани
и запах черемухи и ивняка
раскроется в ясной ладони румяной:
Я помнить не помню и знать не могу,
кто смерть с обладаньем связал на бегу.

Пуškai времена нагоняют тебя
и ревность кипит, как охотничья свора,
затем, что, копье для броска отведя,
ты с жертвой таким обменяешься взором,
что кровь ее смоешь, с водою шутя,
как будто умоешь чужое дитя.

1975

Филемон и Бавкида

Любовь молодая глядит из ветвей,
как сердце ее умоляет: добей!

А старая ходит с целебной травой.
Сосед ее знает, и путник чужой

глядит, как душиста ее нищета:
и дом без ребенка, и двор без скота.

Его за деревню выводят с утра
вдовец и вдовица, отец и сестра.

И он говорит, обернувшись на дом:
Не нужно прощаться! мы вместе пойдем.

И вот они видят, ступая легко,
как жизни не жалко, как жизнь далеко:

в притертой коробке, в зашитом мешке,
в наперстке, в иголке, в игольном ушке.

1975

Первая легенда

Святой Юлиан на охоте

Как олень обернулся к нему с человеческой речью,
кровь сказала: Прощай! я не знаю, как круг завершить
в этом теле жестоком. И сердце ответило: Легче
мне землей надышаться. Но Боже, как хочется жить!

Это жизнь, это страх, насеченный огнем на скрижали,
растворяет листву, и я слышу вверху над собой:
Я слабейшая ткань, на которой сердца испытали.
Я слабейшая ткань, заживленная болью живой.

1975

.....

ДИКИЙ ШИПОВНИК

Легенды и фантазии

1976–1978

.....

I

Дикий шиповник

Ты развернешься в расширенном сердце страдания,
дикий шиповник,
о,
ранящий сад мироздания.

Дикий шиповник и белый, белее любого.
Тот, кто тебя назовет, переспорит Иова.

Я же молчу, исчезая в уме из любимого взгляда,
глаз не спуская и рук не снимая с ограды.

Дикий шиповник
идет, как садовник суровый,
не знающий страха,
с розой пунцовой,
со спрятанной раной участия под дикой рубахой.

Легенда вторая

Среди путей, врученных сердцу,
есть путь, пробитый в оны дни:
переселенцы, погорельцы
и все, кто ходит, как они, –

в груди удерживая душу,
одежду стягивая, шаг
твердя за шагом – чтоб не слушать
надежды кнут и свист в ушах.

Кто знал, что Бог – попутный ветер? –
ветров враждебная семья,
чтоб выпрямиться при ответе
и дрогнуть, противостоя,

и от любви на землю пасть,
и тело крепкое проклясть –
ларец, закрытый на земле.

И руки так они согнули,
как будто Богу протянули
вино в запаянном стекле:

– Открой же наконец, испробуй,
таков ли вкус его и вид,
как даль, настоенная злобой,
Тебя предчувствовать велит!

Легенда шестая

Когда гудит судьба большая,
как ветер, путника смущая,
одежду треплет – и своя
душа завидней, чем чужая, –
монах старинный вопрошает:
– Скажи, кому подобен я? –

и видит: зеркало живое,
крылатое, сторожевое,
журча, спускается к нему –
и отражает ту же тьму,
какую он борол. Но в нем,
в дыханье зрячем за стеклом,
она – как облако цветное,
окружена широким днем.

Так чья-нибудь душа живая
не вытерпит прямого дня,
и, горе горем прикрывая
и слово словом заслоня,
тьму путевую соберет
вокруг себя – и в ней пройдет.

И в ней огонь его горит.
И свет, как притча, говорит.

Легенда седьмая

Смерть Алексия, Римского Угодника

Ты сад, ты сад патрицианский,
ты мрамор, к сердцу привитой,
шумишь над снящейся водой,
над юностью медитерранской,
делясь последней красотой
с усыновленным сиротой.

И лепестки себя кидают,
и распускается вода,
и так колонны расцветают,
что сердце бьется от стыда.

И человек ли угадает,
зачем насажен этот сад,
зачем нас в горе покидают
и в радости зовут назад
и – попрощайтесь! – говорят
и снова прошлым окружают.

И вот окно выходит в сад.
Как в слабоумном отраженье,
он узнаёт свой новый взгляд
в его стеснение и стяжение.

Волокна верят и болят:
– Неужто Бог идет, как яд?

Идет, как яд идет в крови,
и, безопасный иноверцу,
Он только слышащее сердце
рвет, словно письмо любви.
И сердце просит:
– Разорви!

Я слышу хищное снижение
другой столицы. Перед той
ты – сдержанное унижение,
предместье юности второй.
Семейный плач, наемный вой. –

Он здесь уже. Семья больная
со светом требует меня.
Я выйду, глаз не поднимая
и шага не переменя.

И если время утешает,
то примет вас, как слезный плат,
как со свечи нагар снимают,
как в окна ласточки летят.

Как я иду в глаза из глаз
уже в слезах воспоминанья,
я – голос, поднятый за вас,
и принятое подаянье.

Selva selvaggia

Триптих из баллады, канцоны и баллады

I. ПРОВОДЫ

Памяти Михаила Хинского

Из тайных слез, из их копилки тайной
как будто шар нам вынули хрустальный —

и человек в одежде поминальной
несет последнюю свечу.

И с тварью мелкокрылой и печальной
душа слетается к лучу.

— Ты думаешь, на этом повороте
я весь — разорванная связь? —
я в руку взял
то, что внутри вы жжете,
и вот несу, от света хоронясь.

И я не воск высокий покаянья,
не четверговую свечу,
но малый свет усилья и вниманья
несу туда, где быть хочу.

Промой же взгляд, любовью воспаленный,
и ты увидишь то, что я:
водой прекраснейшей, до щиколоток влюбленной
полна лесная колея.
Гляди же: за последнюю свободу,
через последнюю листву,
по просеке, по потайному ходу,
раздвинутому веществу,
ведут меня.

И, сколько сил хватило,
там этот свет еще горит,
и наших чувств темнеющую силу
он называет и благодарит.

II. ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

1

Иди, канцона, как тебе велят,
как в старину, когда еще умели,
одним поступком достигая цели,
ступить — и лечь.
И лечь к купели, у Овечьих Врат,
к родному бесноватому народу,
чтоб ангела, смущающего воду,
уже упавшим сердцем подстеречь.
И если впрямь нам вручена свобода —
ступай туда, где нечего беречь.
Мне часто снится этот шаг и путь,
как вещь, какую в детстве кто-нибудь
нам показал и вышел. И она

не названа, но кровью быть должна,
и с нею жить, и с ней держать ответ.
И путь смущенья и уничтоженья,
который, может быть, и я пройду –
но ты пройди, канцона. Если ж нет
в тебе терпенья – нет и нам прощенья,
и мы лепечем, как дитя в бреду,
и променяли хлеб на лебеду.

2

Да, как дитя, когда оно горит
в жару предновогодней скарлатины,
и будущего узкие картины
летят, как полоумный серпантин,
и в нем старуха. Шаркает, свистит,
внимательней, чем Гауф нас пугает,
глядит в котел и корень разгребает
и говорит притом: один, один...
Один ты, дух мой. Друг мой, прикипает
все варево для горьких именин.
Ты надо мной стоишь, как над котлом
с клубами легких, колотым стеклом
и кожей лягушечьей внутри,
и говоришь: Вставай или умри! –
но лучше встань. Узнаешь по пути,
что станет из рассыпанного звона
и почему он гибели искал.
Украдкой, раздвигая конфетти,
пойдем домой. Иди, моя канцона,
как кажется больному, что он встал,
и вот идет, хотя кругом – кристалл.

3

Идет, идет. Репей, болиголов,
трехлетняя крещенская крапива –
таким, как мы, такими, справедливо,
знакомые откроются луга
в сердцебиенье. Из твоих следов
по-птичьи пьет обогнанное нами –
и человеческими голосами,
напившись, делается. И тогда:
– Ты видишь, хлеб твой ест тебя, как пламя.
Как мы, ты не вернешься никуда.
Ты будешь с нами в спрятанном лесу.
Мы те, кого сморгнули, как слезу.
И наша смерть понравится тебе,
как старый ларчик в дорогой резьбе...
Но флаголант, когда последний кнут
он истрепал – последними глазами
он мысленный занес бы за плечом.
Так ты, моя канцона, встань. И тут
дорога будет вобрана зрачками
и выпрямится островерхий дом.
И кто нам говорил, что мы умрем?

4

И блудный сын проснулся у крыльца,
где лег вчера, не зная, как признаться,
что он еще не умер. Домочадцы
толпятся в сердце, в окнах, на крыльце!
Но кто, как сердце, около отца
к нему выходит? – и перед *собой*

он падает, как зеркало кривое,
и трогает морщины на лице:
не я ли жил, не я ли был водою
и сам себя отобразил в конце...
И милует, и гладит колыбель.
И кажется, и движется купель:
– Где б ни был ты – ты был, как луч в луче,
в горячем плаче на моем плече.
Так встань и слушай и скажи за мной:
Да, верю я, и знаю, и владею,
как кровь живая, замкнутым путем
горячей тьмы, где, плача над собою,
звуча: – Я предварю вас в Галилее! –
мы, как слепцы последние, идем –
как зренье, сделанное веществом.

5

Прощай, канцона. Гордому уму
не попадайся, чтоб не различили
худых одежд, нечесанных волос.
А друга встретишь – поклонись ему,
как Бог судил, как люди научили,
как сердце разломилось и срослось.
И поклонись, и выпрямись без слез.

III. БАЛЛАДА ПРОДОЛЖЕНИЯ

И путник усталый на Бога роптал.
А.С.П.

В пустынных степях аравийской земли...
М.Ю.А.

Он шел из Вифании в Иерусалим...
Б.А.П.

И страшно и холодно стало в лесу.
Куда он зашел? И зачем на весу
судьбу его держат, короткую воду
в стакане безумном, в стекле из природы,
из слабости: вдруг раскатиться, как ртуть.
И шел он, и слезы боялся смахнуть.

И некогда было: еще за ольху –
и вырастет ветер, как город вверху,
и дрогнет душа от собачьего лая.
И слабая жизнь, у стола засыпая,
бренча в угольках, завывая в трубе,
опять, как к ребенку, нагнется к тебе.

Но прежде проснется, кто в доме уснул,
услышит, что голосом сделался гул,
и в окна посмотрит, и встретит у входа
с лицом, говорящим: Я ум и свобода,
я все, чего нет у тебя впереди.
Но хлеба не жалко, и ты заходи.

И долго, пока он еще исчезал,
и знал, что упал, и стакан расплескал,
как этого просит старик, пораженный

худым долголетьем, как хочет влюбленный
его расплескать, оставаясь вдвоем,
а он не просил, и не помнил о том. –

Но долго, пока он еще исчезал
и мимо него этот сброд проползал,
который и взгляда людского стыдится,
и в дуплах, и в норах, и в щелях плодится –
а здесь проползал, не стыдясь его глаз,
как будто он не жил и не был у нас. –

Так долго, пока он еще исчезал,
твердил он: Ты все, чего я не узнал,
ты ум и свобода, ты полное зренье,
я – обликом ставшее кровотоечение.

И тут раздалось, обрывая его:
– Я ум и свобода, но ты – торжество.

Прощание

I

Мне снилось, как будто настало прощанье
и встало над нашей смущенной водой.
И зренье мешалось, как увещеванье
про бóльшие беды над меньшей бедой,
про то, что прощанье – еще очертанье,
откуда-то вéдомый очерк пустой.
Но тут, как кольцо из гадательной чаши,
свой облик достало из жизни молчащей,
и плача, смущая и глядя в нее,
стояло оно, как желанье мое.

II

Так зверю больному с окраин творенья,
из складок, в которые мы не глядим,
встряхнут и расправят живое виденье,
и детство второе нагнется над ним,
чтоб он, не заметив, простился с мученьем,
последним и первым желаньем учим.
И он темноту, словно шерсть, разгребает
и слышит, как только к соску припадает,
кормилицы новой сухие бока
и страшную сладость ее молока.

III

Я тоже из тех, кому больше не надо,
и буду стоять, пропадая из глаз,
стеклянной террасой из темного сада
любуюсь, как дождь, обливающий нас,
как полная сердца живая ограда
у стекол, пока еще свет не погас.
Ограда прощания и поминанья,
целебная ткань, облепившая знанье.
И кто-то кивает, к окну подойдя,
лицу сновиденья, смущенья, дождя.

* * *

То в теплом золоте, в широких переплетах,
а то в отрепье дорогом
ты глаз кормилица, как ласточка, крылатых
и с переломанным крылом.

И там, где ты, и где прикрыться нечем,
где все уже оборвалось –
ты глаз кормилица, забывших об увечье,
летающих до слез.

Предпесня

И перед ним водой смущенной
толятся темные слова...

Он глаз не поднимает – и вода
глаза отводит. Широко шумит
предания двойная слепота.

Так вот что ты, ужасная вода,
ты, слипшееся вещество мгновенья,
само себе закрывшее глаза
зачатие, враждебное рождению.
Непокидаемая колыбель стыда.

Но как змею двузвучная дуда,
высвистывая внутреннее зренье,
заставит повторить его – тогда,
когда слепец положит на колени
всю лиру легкую, когда найдет на ней,
сияя мелочью невиданных вещей,
полубожественное снаряженье,

тогда, огромный свет держа перед собой,
мы медленно пойдём, предварены тобой.

Странное путешествие

Так мы и ехали: то ли в слезах, то ли больно от белого
света.

Я поглядела кругом, чтоб увидеть, как видимо это.

– Так, как душа твоя ноет и зрение хочет разбить –
зеркало злое, кривое, учившее вас не-любить.

Так и узнала я, с кем мне положено быть.

Друг мой последний и первый, невиданный, лишь
напряженье
между желаньем и ужасом, только движенье
к гибели, гибнуть когда не желают и гибнут, ища
продолженья
в этом лице, – терпеливо оно, как растение.

Сердце сердец, погубивших себя и влюбленных
в спасенье.

Мы проезжали поля, и поля отражали друг друга,
листья из листьев летели, и круг выпрямлялся из круга.

Или свиданье стоит, обгоняющий сад,
где ты не видишь меня, но увидишь, как листья глядят,
слезы горят,

и само вещество покаянется,
что оно зрением было и в зренье вернется.

Поезд несется,
и стонет душа от обличий,
рвань раздвигая живую, как варварский, птичий,
страстный язык, чтобы вынуть разумное слово...
Ты ведь уже не свиданье, не разрывание круга цветного.

Буду я ехать и думать в своей пустоте предсердечной,
ехать, и ехать, и плакать о смерти моей бесконечной...

Побег блудного сына

Ты всё – как сердце после бега,
невиданное торжество,
ты жизнь, живая до того,
что стонешь, глядя из ковчега
в пучину гнева самого,
и требуешь уничтоженья:
движенья в ужасе, вверженья
в ликующее вещество.

И нет меня, когда не море
твоих внушений об одном.
И только ищущее горе
люблю я в имени твоём.
Другие в нем искали света.
Мне нет ни брата, ни совета.
Я не жалею ни о ком.

Пускай любовь по дому шарит,
и двери заперты на ключ –
мне черный сад в глаза ударит,
шатаясь, как фонарный луч.
И сад, как дух, когда горели
в огне, и землю клятвы ели,
и дух, как в древности, дремуч.

Ты жить велишь – а я не буду.
И ты зовешь – но я молчу.
О, смерть – переполненье чуда.
Отец, я ужаса хочу.
И, видимую отовсюду,
пусти ты душу, как Иуду,
идти по черному лучу!... –

И, словно в глубине колодца,
все звезды вобрались в одну,
в одну, тяжелую от сходства.
Притягиваемую ко дну
так быстро, что она клянется,
что выстрадает – и вернется,
как тьму, съедая глубину
и отражая до конца
лицо влюбленного отца.

Легенда девятая
Отпевание монахини

Как темная и золотая рама
неописуемого полотна,
где ночь одна, перевитая анаграмма,
огромным именем полна –

так было, и она лежала
с лицом свободных покрывал,
и в твердом золоте любовь изображала,
что каждый ей принадлежал.

Не понимая продолженья,
переменяясь на виду,
вдруг вырезанные из темноты и пенья,
мы знали, что она в саду.

Куда когда-нибудь живое солнце входит,
там, сад сновидческий перебирая и даря,
она вниманье счастья переводит,
как луч ручного фонаря.

Сретение

Пророков не было. Виденья были редки.
И жизнь внутри изнемогла,
как в говорящей, пробующей клетке
непрорастающая мгла.

– Еще усилие – и всё, что возникает,
я всё, как руку, протяну,
весь этот сон о том, как время протекает
через враждебную страну.

И время движется, как реки Вавилона.
Неразделенную длину,
огромные года, их сон уединенный –
я всё, как руку, протяну.

Я руку протяну, чтобы меня не стало.
И знаю, как она пуста –
растенье пустоты, которое теряло
все, что впитала пустота.

Да, время движется, как реки Вавилона,
но тайну рабства своего,
но сердце рабства – музыкальным стоном
не выдаст плачущее существо.

И будет плакать молча и влюбленно
там, где заставили его:

– Прости, что эта жизнь не значит ничего –
она не знает о значеньи:
в живом волнении терпенья твоего
удержанное утешенье.

И забывая, и не зная как,
по тьме египетской участья
она несет тебе неповторимый мак –
коробку зрения и счастья!

Я вижу по земле, что вещи и значенья
она должна перевести:
так, как дитя глаза – на смелое растение,
уже решившее цвести.

Да, время движется, как реки Вавилона,
но есть в безумии его
лицо, полюбленное легионом
чудес, хранящих вещество,

и каждый человек во сне неразделенном
искал и требовал его.

– Я выхожу из времени терпенья,
я выхожу из смертных глаз.
Ты руку протяни, спускаясь по ступеням
в последний из мильона раз!

Как медленно по шлюзам долголетия
из ослепляющего сна

к нам жизнь спускается и, как чужая, светит,
уже не зная, где она,
как засыпающие дети,
невероятна и одна...

И на руках была,
и на воде держала,
и говорила, как звезда.

И молодая мать слезами умывала
лицо, которое единственно стояло,
когда все вещи, как тяжелая вода,
по кровле скатываясь,
падали туда...

Приписка

Теперь молчи, душа, и кланяйся. Как встарь
списатель чудесем, вообразив тропарь –
светящий, радующий дом,
из рук взлетающий легчайшим голубком
внимания и осязанья
через пустые времена –
рыдая, просит наказанья:
как зимний путь, так ты, душа, темна,
как странствие без оправданья.
Ты тени тень,
ты темноты волна,
как, плача, прочь идет она,
когда свеча нам зажжена
невероятного свиданья!

ПЕРВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНТРАКТ

* * *

Летят имена из волшебного рога,
но *луг* выбирает язык:
разумный – он разума азбуку трогал,
безумный – как слово возник.

Там старшая жизнь не дыша поднимает
египетский уединенный цветок...
Другая смешалась, и ветки ломает,
и мокрые руки к щекам прижимает.

Кот, бабочка, свеча

Chat séraphique, chat étrange.

Ch. Baudelaire

I

Из подозренья, бормотанья,
из замиранья на лету
я слабое повествованье
зажгу, как свечку на свету:
пусть дух, вернувшийся из чащи,
полуглядящий, полуспящий,
свернется на ковре, как кот:
кот серафический, молчащий –
и малахит его редчайший
по мне события узнаёт.

II

Глядит волнующая сила –
вода, не сдавшаяся нам.
Она когда-то выходила
навстречу первым кораблям,
она крут Арго холодела,
как смерть сама, – но *им* глядела,
и вещи его бока
то разжимала, то сжимала,
как музыка свое начало,
как радужка вокруг зрачка.

III

И мы пойдем, как заклинанье,
в кошачье зрение, в нигде,
в тень, отразившую сиянье,
в сиянье тени на воде:
душа венчает поколенья.
как сон, враждебный пробуждению,
венчает бодрствующий день, –
и зеркальце летит над нами,
держа в волшебной амальгаме
лица невиданного тень.

IV

Как если бабочка ночная
влетит – и время повернет,
и, что-то отражать скучая,
то вычеркнет, то отчеркнет –
вас не тянуло обернуться,
расплескивая жизнь из блюда,
туда, где *всё произошло?*
где облика немая сцена
неповторимо неизменно
глядит в Нарциссово стекло.

V

Но, быть застигнутым рискуя,
он мириады подыскал
порхающих почти вплотную
увеличительных зеркал.

Когда крупница отраженья
внушит ребенку подозренье
о том, что зрительнее глаз, –
скорей, чем мы отдернем руку,
в малине увидав гадюку,
он от себя отдернет нас.

VI

Но горе! наполняясь тенью,
любя без памяти, шагнуть –
и зренье оторвать от зренья,
и свет от света отвернуть! –
и вещество существования
опять без центра и названья
рассыпалось среди других,
как пыль, пронзенная сознанием
и бесконечным состраданьем
и окликаньем живых...

VII

Свеча бесценная, кошачья!
Ты наполняешь этот дом,
с которым память ходит плача,
как сумасшедший с фонарем.
Душа, венчая поколенья, –
не сон, враждебный пробуждению,
а только в сон свободный шаг.
И ты сияешь ночью дачной
в среде, для сердца непрозрачной,
в саду высоком, как чердак.

VIII

И ты сияешь за пределом
той темноты, где я живу,
чтоб темнота похорошела
и сон увидел наяву
сиянье трезвое, густое,
сиянье бденья золотое
и помнящее про него –
как будто вся душа припала
к земле, с которой исчезало
любимейшее существо...

Пение

Заре Александровне Долухановой

Если воздух внести на руках, как ребенка грудного,
в зацветающий куст, к недающимся розам, к сурово
отвечающим веткам,

КЛЯНУСЬ, МЫ УВИДЕТЬ ДОЛЖНЫ
ЭТОТ ГОЛОС ПОРФИРНЫЙ, ГЛУБОКУЮ КРОВЬ ТИШИНЫ.

Этот свет, принимающий схиму, и в образе ветхом
оживляющий кровь, и живущий по гибнущим веткам

горных роз, выбегающих из-за камней,
и, как к горю, привычных к свободе своей.

Что, не снится ли нам эта тьма, этот куст остролистый,
разговоры огня над паденьем реки каменистой...

– Так быстры мои воды, что ты не найдешь отраженья,
сколько в них ни гляди: даже тьмы драгоценной растенье

в них не кажется тьмой – об одном она только и стонет:
кто же, кто нас поднимет, когда нас и небо уронит?

Кто безумного счастья, бессмертного счастья угрозу –
кто же кровь остановит ребенку, сорвавшему розу?

Кто пораненный воздух губами целебными ловит? –
так быстры эти воды,
что никто его не остановит...

Так быстры эти воды, что свет в них не кажется светом,
и кружится дыханье, и мы забываем об этом,

и еще повторяем,
минуя воздушные арки,
разговоры огня
над рекой, уносящей подарки.

Вода-крестьянка

Бабушке

Ты гулюшки над старой люлькой,
где дети нянчили детей,
яйцо с наклёванной скорлупкой,
и дух и голубь их ночей,

голубка, запертая крепко,
холопка мельничихи злой –
но к веткам ты подвяжешь клетку
и кормишь хлебом и крупой.

По небу голуби летают,
ребенок спит, и дом растёт,
и вся, как лодка золотая,
к нам госпожа вода плывёт.

НЕЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Восемь восьмистиший

I

Полумертвый палач улыбнется –
и начнутся большие дела.
И скрипя, как всегда, повернется
колесо допотопного зла.
Погляди же и выкушай страха
да покрепче язык прикуси.
И из рук поругателей праха
полусытого хлеба проси.

II

Погляди, как народ умирает,
и согласен во сне, и умрет.
Как он кнут по себе выбирает,
над собой надругавшийся сброд.
Только шепот, и шепот, и шепот,
как песок по доске гробовой.
Только скверный и слышанный шепот.
Только шепот и вой нанятой.

III

Это имя еще не остыло.
Будет выродку что запятнать.

Еще будет рогожа, чтоб шила
наконец-то в мешке не узнать.
Странно, что оно разум пронзает,
это имя в позоре своем?
Видишь? – все туда землю кидают.
Кинь свою и не думай о нем.

IV

Кто поверит, что братство и счастье
обогнали мы, как никогда?
что тоской по страданью и страсти
ты была и пребудешь горда,
ты, душа... И прошедшей ученье
у преданий любви и стыда,
только это соблазн и влечение
и подсказка, живая всегда.

V

Так раскольникам в тмутаракани
был подсказан огонь, внушена
кровь – чтоб знать, превращаясь в дыханье:
Солнце Правды пронесит Жена.
И любой из сгорающих в хоре
покажется, как перед душой:
вот, я вышел из времени горя,
и теперь хорошо, хорошо.

VI

Кто забыл, что судьба – это клятва
с неподкупной землею во рту,

ключ, которым замкнулась молитва,
и молчит, и глядит в высоту.
Клятва, твердо замкнувшая двери.
Клятва гласная, нынче и тут,
клятва в вечном и вечном неверье
в то, что коршуны сердце склюют.

VII

Никогда и ничем не сумею
переволить я волю Твою:
как могильную землю, развею,
как ребенка в утробе, убью –
но печалью, судьбой и любовью
как я сердце в себе изменю? –
Ты мной пицешь, как кровью по крови,
как огнем по другому огню.

VIII

Поклянись на огне сострадания,
на позоре, пригубленном тут,
и на чистой воде озаренья –
пусть меня ей тогда обнесут:
на земле, сытой ложью и пьяной,
в час ее надо мной торжества,
в тихом цирке Диоклетиана
не умру, но останусь жива.

В духе Леопарди

O numi, o, numi!

All' Italia

Ни мощный дух, ни изощренный разум,
ни сердце, сокрушенное глубоко,
ни женственное счастье вдохновенья
не посетят тебя и не спасут.

Ты спишь, как пьяный. Твой Савонарола
не верил никогда. Дороже хворост
свозить к костру, чем дать ему при спящих
потосковать, поспорить, погрозить.

Твой Моцарт улыбается убийцам,
и не за деньги – а чтобы остаться
среди живых, а там, когда-нибудь...

Двурушничают дети. Старики
сами с собою не смеют вспоминать
о том, что делали. Увы, во мне
растет твоя ленивая усмешка,
как опухоль, съедая ткань другую.
А твой Екклезиаст несет такое,
что бабы бы на кухне постыдились, –
но стыд давно отсюда отлетел.

А милосердие твое? а кротость?
а многопетое твое смирение? –
Кто сыт – тот прав.
Ну, что же ты молчишь?
Скажи мне что-нибудь.

II

* * *

Две книги я несу, безмерно уходя,
но не путем ожесточенья –
дорогой милости, явлением дождя,
пережиданием значенья.

И обе видящие, обе надо мной
летят и держат освещенье:
как ларь летающий, как ящик потайной,
открыта тьма предназначенья.

* * *

Медленно будем идти и внимательно слушать.
Палка в землю стучит,
как в темные окна
дома, где рано ложатся:
эй, кто там живой, отоприте!
И, вздыхая, земля отвечает:
кто там,
кто там...

* * *

Мне часто снится смерть и предлагает
какую-то услугу. И когда,
не разобравшись, говорю я: нет! –
она кивает.

Лестница двойная
ведет ее туда, откуда свет. –

И странно мне и пусто...

Я думаю, что около нее
не проклятое место, где заводит
ребенка, и старуху, и вдовца,
а память, память.

Воздух из путей кратчайших,
падающих, как вода, –
но вверх.

И вот, не обращаясь к ней,
я улыбаюсь,
и рука уходит
в простую воду легкого лица.

* * *

Преданья о подвижниках похожи
на платье внутреннее кожи.
И сердце слабое себя не узнаёт,
в огромных складках пропадая.
Но краска их – как кровь, родная,
одежда быстрая, простая,
в которой темнота идет,
пустую лестницу шатая...

* * *

Ни ангела, звучащего, как щель,
ни галилейскую свирель
ученика
и ни святого, в мире
пожившего, как струны на псалтири
под опытной рукой Твоих ужасных встреч,
я не могу от музыки отвлечь.

Она живет огромными кругами,
как тысяча колец с бессмертными камнями,
как восхищение вещества —
и сердца нищего касается едва.

Но, падая и складками кивая,
как занавесь тяжелая, живая,
мне обещает думающий дух:
там все звучат, но Ты остался — слух.

Три зеркала

1. ЖЕНЩИНА У ЗЕРКАЛА

Не снизу, а как из-за некоей двери,
полурастворенной в святающийся зал,
из верных, как детское имя, материй,
как явная правда из многих поверий
является женщина возле зеркал.

И вот она встала и так посмотрела,
как будто, зажмурившись, вдела в иглу
крученную нить назначения и тела –
и тут же забылась, и нитка свистела,
и сотни иголок валялись во мглу.

И сотни вещей возвращались с поклоном
к сосновым ветвям, в темноте восхищённым
и так сострадающим этой борьбе
любви воплощенной со взглядом влюбленным, –
и думала я, удивляясь себе:

когда бы не стыд и не смертная скука,
не жизнь моя, виснувшая на руках,
я кинула б всё пред тобою, как штуку
материи, затканной светом, – и ну-ка! –
взлетающей сразу же скопищем птах.

И каждому б образу я наказала:
ты можешь убить, но иди – и щади.
Ты можешь и здесь – но иди с чудесами,
исчезни, как зеркало перед глазами,
и просто, как сердце, забейся в груди.

И встала она, и руками закрыла
лицо свое: то, что в лице ее было,
что было в руках ее, – вся эта тьма
прошла, как судьба над свободным созданием,
и это могло показаться рыданием,
но было виденьем, сводящим с ума.

2. СТАРЫЙ ДОМ

Дух тысячи бед обитал в коридорах
и шубы наполнены были распадом,
когда, зарываясь в их плачущий ворох,
почуешь, что жизнь твоя вовсе не рядом,

а там, в антресолях, лишенных кого-то,
как бусы и перстни из захороненья,
где внутренний ужас сидит за работой,
чтоб выйти наружу и сделать движение.

– Послушай меня. Я ненужное имя,
я призрак наследственный, сон издалёка,
где тени толкаются между живыми
и так же ведут допотопную склоку

с судьбою, вовеки взыскующей жертвы,
живущей вовеки в пространствах просторных.

Так что ж она здесь отразилась, как мертвый
в подземных озерах желёз кроветворных?

Неужто и мы при потушенном свете
допишем историю смерти и плоти?
неужто и я прочитаю, как эти,
истлевшую книгу в сыром переплете?

Есть город враждебный внутри человека,
могучие стены, влюбленные в тленье,
и там, поднимая последнее эхо,
болезненно-живо открыто растение.

3. ПРОРОК

– Пусть знают, как образ Твой руки ломает,
когда темнота, и кусками вода
летит и летит, и уже не желает,
но, падая, вся попадает сюда.

Пусть знают, как страшное сердце ликует
уже на ходу, выходя из ума,
как руки ломает, как в тьму *никакую*
летит она, тьма, ужаснувшись сама.

И жизнь проглотив, как большую обиду,
и там, пропадая из бывших людей,
размахивать будет, как сердцем Давида,
болезнью, и крышей, и кожей моей.

Что было – то было со мною. И хуже:
со всеми, про всех и у всех на устах
не кончат меня отбивать, как оружие
пощады любой
и согласья на взмах.

Ветер прощанья

Ветер прощанья подходит и судит.
Видит едва ли и слышит едва.
И, как не знавшие грамоте люди,
мы повторяем чужие слова:

об упокоении сущим и бывшим,
откуда же гнев отбежит и гроза,
и о страданье, глаза не открывшем,
о поруганье, закрывшем глаза.

И обо всем, чего мы не исполним,
чем и во сне не попробуем быть.
– Славно, – скажи мне, – что мы не запомним
и что тебя не сумеем забыть.

Славно любить это благо живое,
золото, пахнущее дождем.
Если ты боль – то и это с тобою,
если ты сад, где мы счастья не ждем.

* * *

Где-нибудь в углу запущенной болезни
можно наблюдать, удерживая плач,
как кидает свет, который не исчезнет,
золотой влюбленный мяч.

– Я люблю тебя, – я говорю. Но мимо,
шагом при больном, задерживая дух,
он идет с лицом неоценимым,
напряженным, словно слух.

Я люблю тебя, как прежде, на коленях,
я люблю твой одинокий путь.
Он гудит внутри и он огонь в поленьях.
он ведет, чтобы уснуть.

А глаза подымет – светлые, не так ли?
И, пересыпая фонари,
золотой иглой попадает в ганглий
мяч, летающий внутри.

Болезнь

1

Больной просыпался. Но раньше, чем он,
вставала огромная боль головная,
как бурю внутри протрубивший тритон.
И буря, со всех отзываясь сторон,
стояла и пела, глаза закрывая.

И где он едва успевал разглядеть
какую-то малость, частицу приметы –
глядела она. Поднимала, как плоть,
свой взгляд, никогда не любивший глядеть,
но видевший так, что кончались предметы.

И если ему удавалось помочь
предметам, захваченным той же болезнью,
он сам для себя представлялся точь-в-точь
героем, спасающим царскую дочь,
созвездием, спасшим другое созвездье.

Как будто прошел он семьсот ступеней,
на каждой по пленнице освобождая,
и вот подошел к колыбели своей
и сам себя выбрал, как вещь из вещей,
и тут же упал, эту вещь выпуская.

– Нет, это не свет был, нет, это не свет,
не то, что я помню и думаю помнить.
Я верю, что там, где меня уже нет,
я сам себя встречу, как чудный совет,
который уже не хочу не исполнить.

Я чувствую сна допотопную связь
со всеми, кто был и не выполнил дела.
Я сам исчезаю, и сам я из вас.
Я слушаю долгий и связный рассказ
в огромном раю глубочайшего тела.

Как в доме, который однажды открыт,
где, кажется, всё исчезает навеки –
но кто-то читает, и лампа горит,
и в будущем времени свет говорит,
и это ласкает закрытые веки.

О как хорошо тебе в сердце моем!
Как нет тебя в нем, как я помню и знаю
твой голос, живущий, как рухнувший дом,
и ветер, и ветер, гудящий о нем:
твоих коридоров гора ледяная.

Я думаю, учит болезнь, как никто,
ложиться на санки, летящие мимо,
в железную волю, в ее решето,
и дважды, и трижды исчезнуть за то,
что сердце, как золото, неисчислимо.

Горячей рукой моей жребий согрет –
пустейшая вещь и всегда пропадала! –
но вот ее вынут, и смотрят на свет,
и видят: любить тебя, где тебя нет, –
вот это удача, каких не бывало.

Путешествие волхвов

I

Тот, кто ехал так долго и так вдалеке,
просыпаясь, и вновь засыпая, и снясь
жизнью маленькой, тающей на языке
и вникающей в нас, как последняя сласть,
как открытая связь
от черты на руке
до звезды в широчайшей небесной реке,

II

тот и знает, как цель убывает в пути
и растет накопление бесценных примет,
как по узкому ходу в часах темноты
пробегает песком пересыпанный свет
и видения тысячи лет
из груди
выбегают, как воздух, и ждут впереди:

III

или некая книга во мраке цветном,
и сама – темнота, но удобна для глаз:
словно зренье, упавшее вместе с лучом,

наконец повзросло, во тьме укрепясь,
и светясь
пробегает над древним письмом,
как по праздничным свечкам на древе густом;

IV

или зимняя степь представлялась одной
занавешенной спальней из темных зеркал,
где стоит скарлатина над детской тоской,
чтобы лампу на западе взгляд отыскал –
как кристалл,
преломлённый в слезах и цветной,
и у лампы сидят за работой ночной;

V

или, словно лицо приподняв над листом,
вещество открывало им весь произвол:
ясно зрящие камни с бессмертным зрачком
освещали подземного дерева ствол –
чтобы каждый прочел
о желанье своем –
но ни тайны, ни радости не было в нем.

VI

Было только молчанье и путь без конца.
Минералов и звезд перерытый ларец
им наскучил давно. Как лицо без лица,
их измучил в лицо им глядящий конец:
словно в груди колец

не нашарив кольца,
они шли уже прочь в окруженье конца.

VII

– О как сердце скучает, какая беда!
Ты, огонь положивший, как вещь меж вещей,
для чего меня вызвал и смотришь сюда?
Я не лучший из многого в бездне Твоей!
Пожалей
эту бедную жизнь! пожалей,
что она не любила себя никогда,
что звезда
нас несет и несет, как вода...

VIII

И они были там, где хотели всегда.

Горная колыбельная

Вике Навериани

В ореховых зарослях много пустых колыбелей.
Умершие стали детьми и хотят, чтобы с ними сидели,
чтоб их укачали, и страх отогнали, и песню допели:
– О сердце мое, тебе равных не будет, усни.

И ночь надо мной, и так надо мною скучает,
что падает ключ, и деревья ему отвечают,
и выше растут и, встречаясь с другими ключами...
– О сердце мое, тебе равных не будет, усни.

Когда бы вы спали, вы к нам бы глядели в окошко.
Для вас на столе прошлогодняя сохнет лепешка.
Другого не будет. Другое – уступка, оплошка,
– О сердце мое, тебе равных не будет, усни.

Там старый старик, и он вас поминает: в поклоне,
как будто его поднимают на узкой ладони.
Он знает, что Бог его слышит, но хлеба не тронет,
и он поднимает ладони и просит: возьми! –

усни, мое сердце: все камни, и травы, и руки,
их, видно, вдова начала и упала на землю разлуки,
и плач продолжался как ключ, и ответные звуки
орешник с земли поднимали и стали одни...

О, жить – это больно. Но мы поднялись и глядели
в орешник у дома, где столько пустых колыбелей.

Другие не смели, но мы до конца дотерпели.

– О сердце мое, тебе равных не будет, усни.

И вот я стою, и деревья на мне как рубаха.

Я в окна гляжу и держу на ладонях без страха
легчайшую горсть никому не обидного праха.

О сердце мое, тебе равных не будет, усни.

Утро в саду

Это свет или куст? я его отвожу и стою.

Что держу я – как ветер, держу и почти не гляжу на
находку мою.

Это просто вода, это ветер, качающий свет.

Это блюдце воды, прочитающей расположение планет.

Никого со мной нет, этот свет... наконец мы одни.

Пусть возьмут, как они, и пусть пьют и шумят, как они.

ВТОРОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНТРАКТ

Взгляд кота

I

Когда, прекрасный кот, ты пробуешь в окне
пространства опытность и силу,
внутри как свет зажгут и размахнут во мне
живое, мощное кадило.

Я думаю, что мир не глядывал в букварь
и чуда письменность напрасна.
Но чуть внимательна уверенная тварь –
и жизнь, как лестница, опасна,

когда с презрением и чашей золотой
твой взгляд спускается по сходням –
и сердце падает мое перед тобой,
как пред служителем Господним.

II

И вот в тебе тоска, как в зеркале, гостит,
в зеркальном кубке крупной грани,
и я раба твоих воспоминаний:
я расстилаю им широкие пути

в пустующей стране, где можно тяготенье,
как дом забитый, обойти,

и невесомости живое искушение –
горящие шары, молчащие почти.

Так лучшие часы сосредоточат нас
на острие иглы спасенья,
где мучится любовь и где впадает зренье
в многоволнуемый алмаз.

И жизнь глядит на жизнь, уничтожая грани,
и все глаза твоих медуз –
один укол, одна анестезия ткани,
один страдающий союз.

III

Походкою кота (как бы само пространство
позволило себе забытую игру)
ты, речь моя, иди, ты между трезвых пьянствуй
с огнем, горящим на ветру.

Неси свою свечу, как он, без недоверья,
как правда видит жизнь, когда она одна:
для счастья умных сил, для восхищенья зверя
тебе опасность вручена.

АЗАРОВКА

Сюита пейзажей

1. Родник

И первую – тем, кто толпится у входа,
из внутренних глаз улыбаясь тебе,
и пьет, и не выпьет влюбленную воду,
целебную воду любви о себе.

И свет троеручный жаленья и славы
и боли, полюбленной до конца,
стоит над тобой, и лучатся суставы
круглится ладонь, накрывая птенца.

И хочется мне измененную чашу
тебе поднести, баснословный фиал,
звучащий, как сердце промытое наше,
чтоб Моцарт Горация перепевал.

2. Поляна

Здесь было поместье, и липы вели
туда, где Эрасты читали Фобласов,
а ратное дело стояло вдали.
Как мелкие розы, аккорды цвели
и чудно дичали Расиновы фразы.

Виньетка в стране, где не рос виноград!
Но все же когда-нибудь это умели,

когда соловей задохнулся, как брат,
обрушивши в пруд неухоженный сад,
над Лизой, над лучшей из здешних Офелий.

3. В кустах

– Ведь и я, –

это выйдет из слуха, из леса сухого,

– жила я когда-то.

Дурочкой здешней была я, к работе негодной,
и только что воду носила в родительский дом
по ступеням богатым.

Так и жила я и воду чужую носила, а можно ли пить,
не спросила.

Старая женщина с сердцем тяжелым, как капля на ягоде,
вдруг надо мной наклонилась:

– Пора, говорит, собирайся.

И повезли,

и колеса стучали по бревнам горбатым.

Плакало, капало, в доме скрипело, но мы-то уже

не слышали:

мы медленно, медленно траву лечебную из темноты

выбирали:

буквицу, донник, поменник...

4. Ивы

Серебряных, белых, зеленых, седых,
то выдохнувших, то вобравших дыханье,
но круглых и круглых над ходом воды,
над бегом и холодом и задыханьем!

Другим и велят темноту приподнять,
но их никогда не попросят об этом –
всегдашних хранительниц хмурого дня,
кормилиц ненастного сильного света.

5. Холмы

Когда победитель, не веря себе,
черту переходит и смотрит снаружи,
он видит, что там еще дело в борьбе,
и бич состязания уже и уже.

Там скачки в честь вечного дня Ильина,
в честь внутренних гроз, образующих почву,
зажмурив глаза и разжав стремяна,
роняя с повозки небесную почву.

И внутренний к нам выбегает народ
и сыплет цветами изорванных денег
оттуда, где сёла, где мальчик идет,
рассеянно свищет и хлещет репейник,

где тысяча сот коробов высоты,
и хлещет надежда, и ломит запястье,
и падает дух, и роняет цветы,
сраженный обширностью замысла счастья.

6. Высокий лут

На медленном зное подруга лугов
и света подруга на медленном зное
лежит – и уходит лицо глубоко
в повисшее зеркало передвижное.

Пространство похоже на мысли больных:
оно за последние двери ни шагу:
– Я встану, я встану с цветов луговых,
но ты Расскажи мне, куда же я лягу...

И сердцебиенье нагнется над ней,
головокружение поклонится в ноги:
ты леж летишь, ты летишь на спине,
летишь, как убогий на общем пороге.

7. Деревня

Как если ребенок тому, что живет,
захочет найти инструмент многоствольный,
и клавиши гладит, и просит, и бьет –
но всё не похоже; и вот, недовольный,
он крышку захлопнет и сам запоет, –
так эти дома выступают невольно
из темных деревьев, и ночь настает.

Они, как лампы, висят на холме.
Их, кажется, семь. Но безмерно спокоен
их счет и себя умножает в уме.
А тот, кто снаружи, считать недостоин.
Они безымянны, как имя одно.
В них мертвые входят, когда их попросят,
и воют собаки, но это выносят,
и видят луну, как большое окно.

Откуда посмотрят и сниться придут,
и масла в висячие чаши нальют.

8. Вещая птица

А там, далеко, где бормочет вода
нерусскую речь, и глаза человека
ни зги не увидят, и, рухнув туда,
глухим и немым возвращается эхо,

там вещая полночь по зарослям ищет,
и черный манок вынимает, и свищет –

и птица летит, выбираясь с трудом,
как будто ища позабытые двери.
Себя ли ей хочется бросить, как дом
свои времена обогнавшей потери?

Но, чтоб ей не сбиться, за нею идут
и черный фонарь перед нею несут.

– О Господи, Господи, тело мое
давно уже стало подобием щели,
в которую смотрят на дело свое
те силы, какие меня разглядели, –

и вот, поднимаясь и падая в нем,
я переполняю летающий дом!

9. Лесная дорога

И пахнут цветы тяжелей, чем всегда.
И, приоткрывая запретную створку,
лесная дорога уходит туда –
к жилищам невидимых, к птичьему Орку,

где речка поет с неразомкнутым ртом
про прошлую жизнь без названья и цели

и грешные души вздыхают о том,
что варят для нас приворотное зелье.

И столько пропавшей и тайной любви
замешено здесь на подпочвенной влаге,
что это, как кровь, отзовется в крови,
дорогу покажет и крикнет в овраге.

10. Овраг

И так уже страшно – и всё же туда,
немного помедлив, как жидкость в воронке,
опушек и просек цветная вода
сбегает, и гибнет, и ходит по кромке.

Там ягода яда глядит из куста
и просится в губы, и всех зазывает
в родильную тьму, где зачатые конца
сама высота по канве вышивает.

11. Небо ночью

И это преддверье Плеяд и Гиад,
цветной красоты, распростившейся с цветом.
По узкому ходу мы входим назад –
в иголку, трудящуюся над предметом.

Нырять в глубокую ткань и потом
сверкая над ней острием безупречным –
над черным шитьем, говорящим о том,
что нет никого, кто звездой не отмечен.

12. Сад

– И дом поджигают, а мы не горим.
И чашу расколют – а воздух сдвигает
и свет зажигает, где мрак несветим.
Одежду отнимут – а мы говорим,
и быстро за нами писцы поспевают.

И перья скрипят, и никто не устал
писать и описывать ту же победу,
и вишни дрожит золотой Гулистан,
и тополь стоит, как латыни стакан,
и яблоня-мать, молодая Ригведа.

III

Портрет художника на его картине

Вся красота, когда смеется небо,
и вздох земли, когда сбегает снег, –
все это ляжет вместе, как солома,
и отворится благодатный хлев.

Пусть на крыше ангелы танцуют
и камни драгоценные целуют
и убегают к верхнему углу
и с верхнего угла бегут, сверкая,
серебряные ветки рассыпая
и посохи меняя на бегу.

И пусть все это отойдет во мглу,
пусть отвернет смущенное лицо.

Внизу, как можжевельники при ветре,
друг друга будут дети обнимать,
а по бокам волы, волы – созвездья
трудящейся земли. Они ложатся,
как только что рожденные телята:
они невидимую чуют мать.

А пастухи, родители детей,
подходят медленно, по-деревенски.

Темным-темны их бедные одежды,
и эта тьма почти от нас идет
и потому почти приводит к нам,
как будто Лот, идущий из Содомы...

Но возле пастухов, оборотясь,
стоит художник. Sapienti sat.
Все исчезает, как висячий сад,
и он один стоит в степи пустой.

Его у горла сложенные руки
как будто держат припасенный дар –
но в этом сомневаются глаза.
Он более, чем мы, любим собой.
Он говорит, как свет глухонемой:

– Ты, мысль моя, ты, ясная Кифера,
ты, розы поднебесной привиденье,
ты, как припев, не впору моему
большому мраку: подойдя к нему,
ты повторяешь эти очертанья –
так в зеркале лицо мое встает,
и то, что там, себе его берет,
и, на себя накинув плоский образ,
томится в нем, как птица под платком, –
и, сбросив, не нуждается ни в ком.

Кому ты хочешь поднести охапки
цветов и улыбнувшихся вещей
и привести замученных детей,
чтобы они смеялись, как вода,
когда качнут наполненное блюдо,

и всё сложить у ног, и улыбнуться –
тот не Лаван, и с ним не делят стад.
Верни ему весь одичавший сад –
в цветной воде, в утешенных слезах
Содом, перерожденный на глазах, –
все будет ложь, и ничего как ложь.
Ты зеркало пустое принесешь.

Есть человек, и он как мир живой
и больше мира – и никто сюда
его не вызвал. Я стою, как вой.
Он – это то, что в зеркале всегда.
Он – это я, подуманный тобой.
И он стоит, как образ соляной,
и не идет за всеми.

Без меня
мой дар лежит на собственной могиле,
как вопленица на похоронах:
она как будто землю разрывает,
откидывает прозвища, приметы,
походку, обхождение, привычки,
она раскапывает свежий ход
в тяжелой глине...

и передает
тяжелый факел темноты
туда, где свет, как кровь, идет, –

весна идет,
и ясная Кифера,
и с нею в парусах архипелаг,
и ранней сфере отвечает сфера,

и первой розой перевернут мрак –
и я иду, беднее, чем другие,
в одежде темной и темнее всех,
с больной улыбкой, как цветы больные,
как вздох земли, когда сбегает снег.

Легенда десятая

Иаков

Он быстро спал, как тот, кто взял
хороший посох – и идет
сказать о том, как он искал,
и не нашел, и снова ждет;
что он следит, как пыль стоит,
не окружая никого,
что небо, круглое на вид,
не свод, а куб – и он гремит,
и сердце есть внутри него.

Он спал и спал, зажав в руке
едва надкушенный кусок
пространств, гремящих вдалеке,
и тьмы, бегущей на восток.
Другие жили, как поток.
А он не мог глотнуть глоток
от новостей – и спал, как мог,
спал исчезая, спал в песке,
спал, рассыпаясь, как песок, –
и Бог,
который ждать не мог,
изнемогая падал в нем,
охваченный внезапным сном.

Легенда одиннадцатая

Ужин

Никогда, о Господи мой Боже,
этот ветер, знающий, как мы,
эту вечно чующую кожу
я не выну из глубокой тьмы.

За столом сидели и молчали.
Время шло, куда глаза глядят.
Ведро деревянные стучали.
Далеко, в колодцах, плавал сад.

Кто-то начал говорить и кончил.
Остальные бросились к нему,
умоляя, чтобы он отсрочил
то, что с самого начала ночи
шло к нему по ближнему холму.

Но уже вошло и встало время.
Сердце билось, кажется, везде –
как ведро, упущенное всеми,
на огромной траурной воде...

Легенда двенадцатая

Сергий Радонежский

Уже не оставалось никого:

ни мальчика, глядящего на воду,
когда другие мальчики играют,
и видящего странные растенья,
которым подходили имена,
похожие на дым по воскресеньям:
смоковницы, маслины, вайи...

ни юноши, который был, как слух,
и шел, и шел, опережая просьбу...

ни мужа, разделившего с медведем
последний хлеб и ставящего стены
на том холме, исполненном, как сон...

ни старца, о котором говорили,
что ангелы беседуют при нем.

Итак, не оставалось никого.
Ни прошлого наставника монахов,
учителя мужающей земли,
ни будущего, перед кем мы сложим

тяжелые дела свои и скажем:
мы сами не осмелимся, но ты
проси за нас.

Душа похожа на
широкий круг глядящих на событие:
оно идет, оно еще в слезах –
и в первом счастье, требующем счастья,
оно уходит. Это как цветок.
И кто его возьмет, когда не ты,
к твоим цветам, стоящим на коленях? –
проси за нас.

Но в этот поздний час
уже не оставалось никого.

Был хвойный лес, и папоротник, и хвощ,
и птичий крик, и горькие кусты,
и воздух деревянный, как лучина,
горящая еще за десять дней.
Там кто-то шел и думал о пути.
И вдруг не выдержал – и поклонился
тому, что в сердце у него сбылось.

И тот, кого уже не оставалось,
кто был уже ненастье, хвойный лес,
и вздрагивающий, и жаущий воздух,
кто был глубокий искренний амбар
таинственного северного хлеба, –

спокойно опустил на колени
перед поклоном

и остался виден
издалека, и всюду, и внутри.

Алатырь

Кто знает, не снилось ли это ему?
Воздвижение было, когда никому
нельзя оказаться в лесу – под ногами
трещала земля, как надломленный сук,
и гады лизали таинственный камень,
и камни другие росли, как бамбук.

И он просыпался. Но змеи спешили.
как только что снилось, одна за другой,
деревья тяжелыми ветками били,
держали его и мерещились – или
и то, что он жил и что все они жили,
казалось по стеклам бегущей водой?
И ныли суставы от мысли одной.

Но сердце голодное вдоволь накормит,
кто дальше пойдет в допотопную тьму,
и камень увидит, и ляжет у корня,
и счастье конца прикоснется к нему.

– Когда мне душа, как случайный прохожий,
кивнет и уходит под ливнем – смотри:
прекрасна земля Твоя, Господи Боже,
но лучше я выйду и буду внутри,

и буду, как дождь, и останусь надеждой
проснуться под звуки другого дождя,
и снова лежать, и расти над одеждой,
и спать бесконечно, и спать уходя...

Ненастная полночь в лесу бушевала,
и все, что хотело, сходило на нет,
стонала земля, и душа тосковала,
и камень кусками раскидывал свет...

И спать бесконечно, и спать уходя,
и спать, приближаясь к чудесному камню,
и спать, прикасаясь живыми руками
к живому сиянию ночного дождя!

Сказка

Так она лежит, и говорят,
что над ней горит, не убывая,
маленькая свечка восковая
и окно ее выходит в сад.

Странно, или сердце рождено,
чтобы так лежать? Веретено
на полу валяется и снится.
И она лежит, как тихий вход
в темный сад, откуда свет идет
и скрипит по древним половицам.

Глубоко, как сердце, глубоко,
как глубокий обморок, и глубже,
в глубине пропущенных веков
спи, голубка, долго, глубоко:
кто узнает, что идет снаружи?

Если это скрип и это свет,
понемногу восходящий кверху, —
сердце рождено, чтоб много лет
спать и не глядеть, как ходит свет
и за веткой отгибает ветку.

Никому не снится этот сон:
он себе и дом, и виноградник,
и дорога, по которой всадник
скачет к ней, и этот всадник – он.

– Много я прошу, но об одном
выслушай по милости огромной
и тогда разрушь меня, как дом,
непригодный для души бездомной:

это будет то, что я хочу.
Остальное бедно и обидно.
И задуй мне душу, как свечу,
при которой темноты не видно.

Сновидец

В той темноте, где иначе как чудом
не проберешься в крутящихся стенах,
там, где свеча, загораясь под спудом,
изнемогает в камнях драгоценных, –

многие встанут, и многие лица
преобразятся счастливой тревогой:
не обо мне ли? – но, выбрав сновидца,
дух возвращается прежней дорогой.

И начинаются длинные ходы,
своды, и лестницы, и галереи,
медленный шаг из глубокой породы,
где самородки и свечи горели.

Или, как ветер плодового сада
яблоком пахнет, уже погружаясь
в дикие степи, – так первого взгляда
я исполняю бессмертную жалость?

Тайный магнит, сердцевина преданья,
волны влечения, горящие в мире,
камни, и странствия, и предсказания
подняты до неба в темном потире!

Падает воля, и тело не хочет,
и не увидит. Но скажет, кончая:
нет ничего, чего жизнь не пророчит,
только тебя в глубине означая!

* * *

– Как упавшую руку, я приподнимаю сиянье,
и как гибель стою, и ее золотые края,
переполнив, целую.

Ибо ваше занятие – вниманье.

Милость – замысел мой.

Счастье – одежда моя.

ПОСТСКРИПТУМ

Старый поэт

Он ходит по комнате и замерзает.
Но странно подумать, как зябнет пальто.
И стужа за окнами напоминает
вино, о котором не помнит никто.

Глоток – и начнутся чудесные вещи:
откроется клетка, и птица дождя
посмотрит на комнату по-человечьи,
как будто страницу закапали свечи,
как будто кивают, в слезах уходя.

Тогда он и вспомнит, кто друг и виновник,
и гость, и хозяин, и горе его,
кто плакал, внутри обрывая шиповник,
и требовал всё, и не взял ничего.

Какое же это печальное дело!
Не слово, не слово, не тысяча слов,
а то, что душа, как теперь, холодела,
когда открывался цветок холодов.

– Прощай и запомни, прощай и создайся:
ничто никогда не достойно себя. –
И в облаке боли, во тьме постоянства
я вновь улыбнусь и кивну уходя.

Но ты повторяй: это то же и то же,
что было, и будет, и полно по край.
А я уже там, где никто не поможет.
Но ты повторяй,
повторяй,
повторяй...

.....

ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА

1978–1982

.....

Светлой памяти

Владимира Ивановича Хвостина

Вступление первое

Послушайте, добрые люди,
повесть о смерти и любви.
Послушайте, кто хочет,
ведь это у всех в крови.
Ведь сердце, как хлеба, ищет
и так благодарит,
когда кто-то убит,
и кто-то забыт,
и кто-то один, как мы.

Монашеское платье
сошьем себе из тьмы,
холодной воды попросим
и северной зимы:
она прекрасна, как топаз,
но с трещиной внутри.
Как белый топаз у самых глаз,
когда сидят облокотясь
и глядят на фонари.

Судьба похожа на судьбу
и больше ни на что:
ни на глядящую к нам даль,
ни на щит, ни на рог, ни на Грааль,
ни на то, что у ворот.

И кто это знает, тому не жаль,
что свет, как снег, пройдет.

О будь кем хочешь, душа моя,
но милосердна будь:
мы здесь с котомкой бытия
у выхода медлим – и вижу я,
что всем ужасен путь.

Тебе понравятся они
и весь рассказ о них.
Быть может, нас и нет давно,
но, как вода вымывает дно,
так мы, говоря, говорим одно:
послушайте живых!

Когда я начинаю речь,
мне кажется, я ловлю
одежды уходящий край,
и кажется, я говорю: Прощай,
не узнавай меня, но знай,
что я, как все, люблю.

И если это только тлен,
и если это в аду –
я на коленях у колен
стою и глаз не сведу.
И если дальше говорить,
глаза закрыть и слова забыть
и руки разжать в уме –
одежда будет говорить,
как кровь моя, во мне.

Я буду лгать, но не обрывай:
Я ведь знаю, что со мной,
я знаю, что руки мои в крови
и сердце под землей.

Но свет, который мне светом был
и третий свет надо мной носил
в стране небытия, —
был жизнью моей, и правдой был,
и больше мной, чем я.

Вступление второе

Где кто-то идет – там кто-то глядит
и думает о нем.

И этот взгляд, как дупло, открыт,
и в том дупле свеча горит
и стоит подводный дом.

А кто решил, что он один,
тот не знает ничего.
Он сам себе не господин –
и доволен про него.

Но странно, что поступок
уходит в глубину
и там живет, как Ланцелот,
и видит, что время над ним ведет
невысокую волну.

Не знаю, кто меня смущал
и чья во мне вина,
но жизнь коротка, но жизнь, мой друг, –
стеклянный подарок, упавший из рук.
А смерть длинна, как все вокруг,
а смерть длинна, длинна.

Одна вода у нее впереди,
и тысячу раз мне жаль,
что она должна и должна идти,
как будто сама – не даль.

И радость ей по пояс,
по щиколотку печаль.

Когда я засыпаю,
свой голос слышу я:
– Одна свеча в твоей руке,
любимая моя! –

одна свеча в ее руке,
повернутая вниз:
как будто подняли глаза –
и молча разошлись.

Вступление третье

Я северную арфу
последний раз возьму
и музыку слепую,
прощаясь, обниму:
я так любила этот лад,
этот свет, влюбленный в тьму.

Ничто не кончится собой,
как говорила ты, –
ни злом, ни ядом, ни клеветой,
ни раной, к сердцу привитой,
ни даже смертью молодой,
перекрестившей над собой
цветущие кусты.

Темны твои рассказы,
но вспыхивают вдруг,
как тысяча цветных камней
на тысяче гибких рук, –
и видишь: никого вокруг,
и только свет вокруг.

Попросим же, чтобы и нам
стоять, как свет кругом.
И будем строить дом из слез

о том, что сделать нам пришлось
и вспоминать потом.

А ты иди, Господь с тобой,
ты ешь свой хлеб, свой путь земной –
неизвестно куда, но прочь.
И луг тяжелый и цветной
за тобой задвигает ночь.

И если нас судьба вручит
несчастнейшей звезде –
дух веет, где захочет.
А мы живем везде.

1. Рыцари едут на турнир

И что ж, бывают времена,
бывает время таким,
что слышно, как бьется сердце земли
и вьется тонкий дым.
Сердцебиенье лесной земли
и славы тонкий дым.
И остальные скроются
по зарослям лесным.

Вот всадники как солнце,
их кони – из темноты,
из детской обиды копыта и копья,
из тайны их щиты.
К Пятидесятнице святой
они спешат на праздник свой,
там гибель розой молодой
на грудь упадет с высоты.

Ты помнишь эту розу,
глядящую на нас? –
мы прячем от нее глаза,
она не сводит глаз.

А тот, кто умер молодым,
и сам любил, и был любим,

он шел – и всё, что перед ним,
прикосновением одним
он сделал золотом живым
счастливей, чем Мидас.

И он теперь повсюду,
и он – тот самый сон,
который смотрят холм и склон
небес сияющих, как он,
прославленных, как он.

Но жизнь заросла, и лес заглох,
и трудно речь вести.
И трудно мне рукой своей
теней, и духов, и ветвей
завесу развести.

Кто в черном, кто в лиловом,
кто в алом и небесном,
они идут – и, как тогда,
сквозь прорези глядят туда,
где роза плещет, как вода,
в ковше преданья тесном.

2. Нищие идут по дорогам

Хочу я Господа любить,
как нищие Его.
Хочу по городам ходить
и Божьим именем просить,
и все узнать, и все забыть,
и как немой заговорить
о красоте Его.

Ты думаешь, стоит свеча
и пост – как тихий сад?
Но если сад – то в сад войдут
и веры, может, не найдут,
и свечи счастья не спрядут
и жалобно висят.

И потому ты дверь закрой
и ясный ум в земле зарой –
он прорастет, когда живой,
а сам лежи и жди.
И кто зовет – с любимым иди,
любого в дом к себе введи,
не разбирай и не гляди –
они ужасны все,
как червь на колесе.

А вдруг убьют?
пускай убьют:
тогда лекарство подадут
в растворе голубом.
А дом сожгут?
пускай сожгут.
Не твой же этот дом.

3. Пастух играет

В геральдическом саду
зацветает виноград.
Из окна кричат:
– Иду! –
и четырнадцать козлят
прыгают через дуду.
Прыгают через дуду
или скачут чрез свирель –
но пленительней зверей
никогда никто не видел.
Остальных Господь обидел.
А у этих шерстка злая –
словно бездна молодая
смотрит, дышит, шевелит.
Тоже сердце веселит.
У живого человека
сердце бедное темно.
Он внутри – всегда калека:
будь что будет – все равно.
Он не сядет с нами рядом,
обзаведясь таким нарядом,
чтобы цветущим виноградом
угощать своих козлят.
Как всегда ему велят.

4. Сын муз

И странные картины
в закрытые двери войдут,
найдут себе название
и дело мне найдут.
И будут разум мой простой
пересыпать, как песок морской,
то раскачают, как люльку,
то, как корзину, сплетут.
И спросят:
Что ты видишь?
И я скажу:
Я вижу,
как волны в берег бьют.

Как волны бьют, им нет конца,
высокая волна –
ларец для лучшего кольца
и погреб для вина.
Пускай свои виденья глотает глубина,
пускай себе гудит, как печь,
а вынесет она –

куда?
куда глаза глядят,
куда велят –

мой дух, куда?
откуда я знаю, куда.

Ведь бездна лучше, чем пастух,
пасет свои стада:
не видимые никому,
они избегают по холму,
играя, как звезда.
Их частый звон,
их млечный путь,
он разбегается, как ртуть,
и он бежит сюда –

затем, что беден наш народ и скуден наш рассказ,
затем, что всё сюда идет и мир забросил нас. –

Как бросил перстень Поликрат
тому, что суждено –
кто беден был,
а кто богат,
кто войны вел,
кто пас телят –
но драгоценнее стократ
одно летящее *назад*
мельчайшее зерно.

Возьми свой перстень, Поликрат,
не для того ты жил.
Кто больше всего забросил,
тот больше людям мил.
И в язвах черных, и в грехах
он – в закопченных очагах

все тот же жар и тот же блеск,
родных небес веселый треск.

Там волны бьют, им нет конца,
высокая волна –
ларец для лучшего кольца
и погреб для вина.
Когда свои видения глотает глубина,
мы скажем:
нечего терять –
и подтвердит она.

И мертвых не смущает
случайный бедный пыл –
они ему внушают
все то, что он забыл.
Простившись с мукою своей,
они толпятся у дверей,

с рассказами, с какими
обходят в Рождество, –
про золото и жемчуг,
про свет из ничего.

5. Смелый рыбак

Крестьянская песня

Слышишь, мама, какая-то птица поет,
будто бьет она в клетку, не ест и не пьет.

Мне говорил один рыбак,
когда я шла домой:
– Возьми себе цепь двойную,
возьми себе перстень мой,
ведь ночь коротка
и весна коротка
и многие лодки уносит река.

И, низко поклонившись,
сказала я ему:
– Возьму я цепь, мой господин,
а перстень не возьму:
ведь ночь коротка
и весна коротка
и многие лодки уносит река.

Ах, мама, все мне снится сон:
какой-то снег и дым,
и плачет грешная душа
пред ангелом святым –

ведь ночь коротка
и весна коротка
и многие лодки уносит река.

6. Раненый Тристан плывет в лодке

Великолепие горит
жемчужиною растворенной
в бутылки темной, засмоленной.
Но в глубине земных обид
она, как вал, заговорит,
как древний понт непокоренный.

Ты хочешь, смертная тоска,
вставать, как мокры из тумана,
чтобы себя издавека
обнять руками океана.
Серебряною веткой Брана
и вешим криком тростника
смущая слух, века, века
ты изучаешь невозбранно:
как сладко ноющая рана,
жизнь на прощанье широка.

Мне нравится Тристан, когда
он прыгает из башни в море:
поступок этот – как звезда.
Мы только так избегнем горя,
отвагой чище, чем вода.
Мне нравится глубоких ран
кровь, украшающая ласку, –

что делать? я люблю развязку,
в которой слышен океан,
люблю ее любую маску.

Плыви, как раненый Тристан,
перебирая струны ожидания,
играя небесам, где бродит ураган,
игру свободного страдания.

И малая тоска героя
в тоске великой океана –
как деревушка под горою,
как дом, где спать ложатся рано,
а за окном гудит метель.

Метель глядит, как бледный зверь,
в тысячеокие ресницы,
как люди спят, а мастерицы
прядут всеобщую кудель,

и про колхидское руно
жужжит судьбы веретено.

– Его не будет.

– Все равно.

7. Утешная собачка

Прими, мой друг, устроенную чудно
собачку милую, вещицу красоты.

Она из ничего. Ее черты
суть радуги: надежные мосты
над речкой музыки нетрудной –
ее легко заучишь ты.

По ней плывет венок твой новый, непробудный –
бутоны свечек, факелов цветы.

Она похожа на гаданье,
когда стучат по голове:
оттуда искры вылетают,
их сосчитают,
но уже во сне,
когда
они
свободно расправляют
свои раскрашенные паруса,
но их не ветры подгоняют –
неведомые голоса.

То судна древние, гребные.
Их океаны винно-золотые
несут на утешенье нам
вдоль островов высоких и веселых,

для лучшей жизни припасенных,
по острым, ласковым волнам.

О чем шумит волна морская?
что nereида говорит?
как будто, рук не выпуская,
нас кто-нибудь благодарит:

– Ну, дальше, бедные скитальцы!
У жизни есть простое дно
и это – чистое, на пядицы
натянутое полотно.

Не зря мы ходим, как по дому,
по ненасытной глубине,
где шьет задумчивость по золотому,
а незабвенность пишет на волне
свои картины и названья:

вот мячик детства,
вот свиданье,
а это просто зимний день,
вот музыка, оправленная сканью
ночных кустов и деревень.
Заветный труд. Да ну его.
И дальше: липа.
Это липа у входа в город.
Рождество.

А вот – не видно ничего.
Но это лучшее, что видно.

Когда, как это ни обидно,
и нас не станет –
очевидно,
мы будем около него...

Прими, мой друг, моей печали дар.
Ведь красота сильнее, чем сердце наше.
Она гадательная чаша,
невероятного прозрачный футляр.

8. Король на охоте

Куда ты, конь, несешь меня?
неси, куда угодно:
душа надежна, как броня,
а жизнь везде свободна

сама собой повелевать
и злыми псами затравлять,

восточным снадобьем целить
или недугом наделить,

медвежьим, лисьим молоком
себя выкармливать тайком

и меж любовниками лечь,
как безупречный меч.

И что же – странная мечта! –
передо мной она чиста?
не потому, что мне верна,
а потому, что глубина
неисто щима;
высота
непостижима;
за врата

айдовы войдя, назад
никто не выйдет, говорят.

О, воля женская груба,
в ней страха нет, она раба
упорная...
мой друг
олень,
беги, когда судьба
тебе уйти. Она груба
и знает всё и вдруг.

А слабость – дело наших рук.

9. Карлик гадает по звездам

Заодно о проказе

Проказа, целый ужас древний
вмещается в нее одну.
Само бессмертье, кажется, ко дну
идет, когда ее увидит:
неужто небо *так* обидит,
что человека человек,
как смерть свою, возненавидит?

Но, и невидимое глазу,
зло безобразней, чем проказа.

Ведь лучший человек несчастных посещает,
руками нежными их язвы очищает
и служит им, как золоту скупец:
они нажива для святых сердец.
Он их позор в себя вмещает,
как океан – пустой челнок,
качает
и перемещает
и делает, что просит Бог...

Но злему, злему кто поможет,
когда он жизнь чужую гложет,
как пес – украденную кость?

зачем он звезды понимает?
они на части разнимают.
Другим отрадна эта гроздь.
А он в себя забит, как гвоздь.
Кто этикие гвозди вынимает?

Кто принесет ему лекарства
и у постели посидит?
Кто зависти или коварства
врач небрезгливый?
Разве стыд.
И карлик это понимает.

Он оттолкнул свои созвездья,
он требует себе возмездья

(содеянное нами зло
с таким же тайным наслаждением,
с каким когда-то проросло,
питается самосожжением):

– Я есть,
но пусть я буду создан
как то, чего на свете нет,
и ты мученья чистый свет
прочтешь по мне, как я по звездам! –

И вырывался он из мрака
к другим и новым небесам
из тьмы, рычащей, как собака,
и эта тьма была – он сам.

10. Ночь

*Тристан и Изольда встречаются
в лесу отшельника*

Любовь, охотница сердец
натягивает лук.
Как часто мне казалось,
что мир – короткий звук:
похожий на мешок худой,
набитый огненной крупой,
и на прицельный круг...

Сквозь изгородь из роз просовывая руку,
прекраснейший рассказ воспитывает муку,

которой слаще нет: огромный алмаз
по листьям катится, один и не один.

Что более всего наш разум восхищает?
Что обещает то, что разум запрещает:

душа себя бежит, она нашла пример
в тебе, из веси в весь бегущий Агасфер...

Скрываясь от своей единственной отрады,
от крови на шипах таинственной ограды,

не сласти я хочу: мой ум ее бежит,
другого требуя, как этот Вечный Жид...

Но есть у нас рассказ, где мука роковая
шумит-волнуется, как липа вековая.

Смерть – госпожу свою ветвями осень,
их ночь огромная из сердцевины дня

растет и говорит, что жизни не хватает,
что жизни мало жить. Она себя хватает

над самой пропастью – но, разлетясь в куски,
срастется наконец под действием тоски.

Итак, они в лесу друг друга обнимают.
Пес охраняет их, а голод подгоняет

к концу. И в том лесу, где гнал их страх ревнивый,
отшельник обитал, как жаворонок над нивой.

Он их кореньями и медом угостил
и с подаянием чудесным отпустил –

как погорельцев двух, сбравших на пожар.
И занялся собой. Имел он странный дар:

ему являлся вдруг в сердечной высоте
Владыка Радости, висящий на Кресте.

11. Мельница шумит

О счастье, ты простая,
простая колыбель,
ты лыковая люлька,
раскачанная ель.
И если мы погибнем,
ты будешь наша цель.
Как каждому в мире,
мне светит досель
под дверью закрытой
горящая щель.

О, жизнь ничего не значит.
О, разум, как сердце, болит.
Вдали ребенок плачет
и мельница шумит.
То слуха власяница
и тонкий хлебный прах.
Зерно кричит, как птица,
в тяжелых жерновах.
И голос один, одинокий, простой,
беседует с Веспером, первой звездой.

– О Господи мой Боже,
прости меня, прости.
И, если можно, сердце

на волю отпусти –
забытым и никчемным,
не нужным никому,
по лестницам огромным
спускаться в широкую тьму
и бросить жизнь, как шар золотой,
невидимый уму.

Где можно исчезнуть, где светит досель
под дверь закрытой горящая щель.

Скажи, моя отрада,
зачем на свете жить? –
услышать плач ребенка
и звездам послужить.
И звезды смотрят из своих
пещер или пучин:
должно быть, это царский сын,
он тоже ждет, и он один,
он, как они, один.

И некая странная сила,
как подо льдом вода,
глядела *сквозь* светила,
глядящие сюда.

И облик ее, одинокий, пустой,
окажется первой и лучшей звездой.

12. Отшельник говорит

– Да сохранит тебя Господь,
Который всех хранит.
В пустой и грубой жизни,
как в поле, клад зарыт.
И дерево над кладом
о счастье говорит.

И летающие птицы –
глубокого неба поклон –
умеют наполнить глазницы
чудесным молоком:
о, можно не думать ни о ком
и не забыть ни о ком.

Я выбираю образ,
похожий на меня:
на скрип ночного леса,
на шум ненастного дня,
на путь, где кто-нибудь идет
и видит, как перед ним плывет
нечаянный и шаткий плот
последнего огня.

Да сохранит тебя Господь,
читающий сердца,

в унынье, в безобразье
и в пропасти конца –
в недостижимом стекле
закрытого ларца.

Где, как ребенок, плачет
простое бытие,
да сохранит тебя Господь
как золото Свое!

.....

СТАРЫЕ ПЕСНИ

1980–1981

.....

ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ

Что белесется на горе зеленой?

А.С.Пушкин

1. Обида

Что же ты, злая обида?
я усну, а ты не засыпаешь,
я проснусь, а ты давно проснулась
и смотришь на меня, как гадалка.

Или скажешь, кто меня обидел?
Нет таких, над всеми Бог единый.
Кому нужно – дает Он волю,
у кого не нужно – отбирает.

Или жизнь меня не полюбила?
Ах, неправда, любит и жалеет,
бережет в потаенном месте
и достанет, только пожелает,
поглядит, как никто не умеет.

Что же ты, злая обида,
сидишь предо мной, как гадалка?

Или скажешь, что живу я плохо,
обижаю больных и несчастных...

2. Конь

Едет путник по темной дороге,
не торопится, едет и едет.

– Спрашивай, конь, меня что хочешь,
всё спроси – я всё тебе отвечу.
Люди меня слушать не будут,
Бог и без рассказов знает.

Странное, странное дело,
почему огонь горит на свете,
почему мы полночи боимся
и бывает ли кто счастливым?

Я скажу, а ты не поверишь,
как люблю я ночь и дорогу,
как люблю я, что меня прогнали
и что завтра опять прогонят.

Подойди, милосердное время,
выпей моей юности похмелье,
вытяни молодости жало
из недавней горячей ранки –
и я буду умней, чем другие!

Конь не говорит, а отвечает,
тянется долгая дорога.
И никто не бывает счастливым.
Но несчастных тоже немного.

3. Судьба

Кто же знает, что ему судили?
Кто и угадает – не заметит.

Может, и ты меня вспомнишь,
когда я про тебя забуду.

И тогда я войду неслышно,
как к живым приходят неживые,
и скажу, что кое-что знаю,
чего ты никогда не узнаешь.

А потом поцелую руку,
как холопы господам целуют.

4. Детство

Помню я раннее детство
и сон в золотой постели.

Кажется или правда? –
кто-то меня увидел,
быстро вошел из сада
и стоит улыбаясь.

– Мир – говорит, – пустыня.
Сердце человека – камень.
Любят люди, чего не знают.

Ты не забудь меня, Ольга,
а я никого не забуду.

5. Грех

Можно обмануть высокое небо –
высокое небо всего не увидит.
Можно обмануть глубокую землю –
глубокая земля спит и не слышит.
Ясновидцев, гадалок и гадалок –
а себя самого не обманешь.

Ох, не любят грешного человека
зеркала, и стёкла, и вода лесная:
там чужая кровь то бежит, как ветер,
то свернется, как змея больная:

– Завтра мы встанем пораньше
и пойдем к знаменитой гадалке,
дадим ей за работу денег,
чтобы она сказала,
что ничего не видит.

6.

Человек он злой и недобрый,
скверный человек и несчастный.
И кажется, мне его жалко,
а сама я еще недобрее.

И когда мы с ним говорили,
давно и не помню сколько,
ночь была и дождь не кончался,
будто бы что задумал,
будто кто-то спускался
и шел в слезах и сам как слезы:

не о себе, не о небе,
не о лестнице длинной,
не о том, что было,
не о том, что будет, —

ничего не будет.
Ничего не бывает.

7. Утешенье

Не гадай о собственной смерти
и не радуйся, что все пропало,
не задумывай, как тебя оплачут,
как замучит их поздняя жалость.

Это всё плохое утешенье,
для земли обидная забава.

Лучше скажи и подумай:
что белеет на горе зеленой?

На горе зеленой сады играют
и до самой воды доходят,
как ягнята с золотыми бубенцами.
Белые ягнята на горе зеленой.

А смерть придет, никого не спросит.

8. Спор

Разве мало я живу на свете?
Страшно и выговорить, сколько.
А всё себя сердце не любит.
Ходит, как узник по темнице, –
а в окне чего только не видно!

Вот одна старуха говорила:
– Хорошо, тепло в Божьем мире.
Как горошины в гороховых лопатках,
лежим мы в ладони Господней.
И кого ты просишь – не вернется.
И чего ни задумай – не исполнишь.
А порадуется этому сердце,
будто птице в узорную клетку
бросили сладкие зерна –
тоже ведь подарок не напрасный!

Я кивнула, а в уме сказала:
Помолчи ты, глупая старуха.
Всё бывает, и больше бывает.

9. Просьба

Бедные, бедные люди!
И не злы они, а торопливы:
хлеб едят – и больше голодают,
пьют – и от вина трезвеют.

Если бы меня спросили,
я бы сказала: Боже,
сделай меня чем-нибудь новым!

Я люблю великое чудо
и не люблю несчастья.

Сделай, как камень отграненный,
и потеряй из перстня
на песке пустыни.

Чтобы лежал он тихо,
не внутри, не снаружи,
а повсюду, как тайна.

И никто бы его не видел,
только свет внутри и свет снаружи.

А свет играет, как дети,
малые дети и ручные звери.

10. Слово

И кто любит, того полюбят.
Кто служит, тому послужат –
не теперь, так когда-нибудь после.

Но лучше тому, кто благодарен,
кто пойдет, послужив, без Рахили
веселый, по холмам зеленым.

Ты же, слово, царская одежда,
долгого, короткого терпенья платье,
выше неба, веселее солнца.

Наши глаза не увидят
цвета твоего родного,
шума складок твоих широких
не услышат уши человека,

только сердце само себе скажет:
– Вы свободны, и будете свободны,
и перед рабами не в ответе.

1980

ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ

Посвящается бабушке

1. Смелость и милость

Солнце светит на правых и неправых,
и земля нигде себя не хуже:
хочешь, иди на восток, на запад
или куда тебе скажут,
хочешь – дома оставайся.

Смелость правит кораблями
на океане великом.
Милость качает разум,
как глубокую дряхлую люльку.

Кто знает смелость, знает и милость,
потому что они – как сестры:
смелость легче всего на свете,
легче всех дел – милосердье.

2. Походная песня

Во Францию два гренадера из русского плена брели.
В пыли их походное платье, и Франция тоже в пыли.

Не правда ли, странное дело? Вдруг жизнь оседает,
как прах,
как снег на смоленских дорогах,
как песок в аравийских степях.

И видно далёко, далёко, и небо виднее всего.
– Чего же Ты, Господи, хочешь,
чего ждешь от раба Твоего?

Над всем, чего мы захотели, гуляет какая-то плеть.
Глаза бы мои не глядели. Да велено, видно, глядеть.

И ладно. Чего не бывает над смирной и грубой землей?
В какой высоте не играет кометы огонь роковой?

Вставай же, товарищ убогий! Солдатам валяться не след.
Мы выпьем за верность до гроба:
за гробом неверности нет.

3. Неверная жена

С того дня, как ты домой вернулся
и на меня не смотришь,
все во мне переменилось.

Как та вон больная собака
третий день лежит, издыхает,
так и душа моя ноет.

Грешному весь мир заступник,
а невинному – только чудо.
Пусть мне чудо и будет свидетель.

Покажи ему, Боже, правду,
покажи мое оправданье! –

Тут собака, бедное создание,
быстро головой тряхнула,
весело к ней подбежала,
ласково лизнула руку –
и упала мертвая на землю.

Знает Бог о человеке,
чего человек не знает.

4. Уверение

Хоть и все над тобой посмеются,
и будешь ты лежать, как Лазарь,
лежать и молчать перед небом –
и тогда ты Лазарем не будешь.

Ах, хорошо сравняться
с черной землей садовой,
с пестрой придорожной пылью,

с криком малого ребенка,
которого в поле забыли...

а другого у тебя не просят.

5. Колыбельная

На горе, в урочище еловом,
на тонкой высокой макушке
подвязана колыбелка.

Ветер ее качает.

Вместе с колыбелкой – клетку,
с клеткой – дуплистую елку.

В клетке разумная птица
свистит и горит, как свечка.

– Спи, – говорит, – голубчик,
кем захочешь, тем и проснешься:
хочешь, бедным, хочешь, богатым,
хочешь – морской волной,
хочешь – ангелом Господним.

6. Возвращение

Стих об Алексее

Хорошо куда-нибудь вернуться:
в город, где всё по-другому,
в сад, где иные деревья
давно срубили, остальные
скрипят, а раньше не скрипели,
в дом, где по тебе горюют.

Вернуться и не назваться.
Так и молчать до смерти.

Пусть они себе гадают,
расспрашивают приезжих,
понимают – и не понимают.

А вещи кругом сияют,
как далекие мелкие звезды.

7. Желание

Мало ли что мне казалось:
что если кого на свете хвалят,
то меня должны хвалить стократно,
а за что – пускай сами знают;

что нет такой злой минуты,
и такой забытой деревни,
и твари такой негодной,
что над нею дух не заиграет,
как чудесная дудка над кладом;

что нет среди смертей такой смерти,
чтобы силы у нее достало
против жизни моей терпеливой,
как полынь и сорные травы, –

мало ли что казалось
и что покажется дальше.

8. Зеркало

Милый мой, сама не знаю:
к чему такое бывает? –

зеркальце вьется рядом
величиной с чечевицу
или как зерно просяное.

А что в нем горит и мнится,
смотрит, видится, сгорает, –
лучше совсем не видеть:

Жизнь ведь – небольшая вещица:
вся, бывает, соберется
на мизинце, на конце ресницы.
А смерть кругом нее, как море.

9. Видение

На тебя гляжу – и не тебя я вижу:
старого отца в чужой одежде.
Будто идти он не может,
а его всё гонят и гонят...

Господи, думаю, Боже,
или умру я скоро –
что это каждого жалко?

Зверей – за то, что они звери,
и воду – за то, что льется,
и злого – за его несчастье,
и себя – за свое безумье.

10. Дом

Будем жить мы долго, так долго,
как живут у воды деревья,
как вода им корни умывает
и земля с ними к небу выходит,
Елизавета – к Марии.

Будем жить мы долго, долго.
Выстроим два высоких дома:
тот из золота, этот из мрака,
и оба шумят, как море.

Будут думать, что нас уже нет...
Тут-то мы им и скажем:

– По воде невидимой и быстрой
уплывает сердце человека.
Там летает ветхое время,
как голубь из Ноева века.

11. Сон

Снится блудному сыну,
снится на смертном ложе,
как он уезжает из дома.

На нем веселое платье,
на руке прадедовский перстень.
Лошадь ему брат выводит.

Хорошо бывает рано утром:
за спиной гудят рожки и струны,
впереди еще лучше играют.

А собаки, слуги и служанки
у ворот собрались и смотрят,
желают счастливой дороги.

12. Заключение

В каждой печальной вещи
есть перстень или записка,
как в условленных дуплах.

В каждом слове есть дорога,
путь унылый и страстный.

А тот, кто сказал, что может,
слёзы его не об этом,
и надежда у него другая.

Кто не знал ее – не узнает.
Кто знает – снова удивится,
снова в уме улыбнется
и похвалит милосердного Бога.

1981

СТИХИ ИЗ ВТОРОЙ ТЕТРАДИ,
не нашедшие в ней себе места

Пир

Кто умеет читать по звездам
или раскладывать камни,
песок варить и иголки,
чтобы узнать, что будет
из того, что бывает, —
тот еще знает не много.

Жизнь — как вино молодое.
Сколько его ни выпей,
ума оно не отнимет
и языка не развяжет.
Лучше не добивайся.

А как огни потушат
и все по домам разойдутся
или за столом задремлют, —
то-то страшно будет подумать,
где ты был и по какому делу,
с кем и о чем совещался.

Другая колыбельная

Спи, голубчик, не то тебя бросят,
бросят и глядеть не будут,
как жница оставила сына
на краю ячменного поля.
Сама жнет и слезы утирает.

– Мама, мама, кто ко мне подходит,
кто это встал надо мною?

То стоят три чудные старухи,
то три седые волчицы.
Качают они, утешают,
нажуют они мелкого маку.
Маку ребенок не хочет,
плачет, а никто не слышит.

Старушки

Как старый терпеливый художник,
я люблю разглядывать лица
набожных и злых старушек:
смертные их губы
и бессмертную силу,
которая им губы сжала.

(Будто сидит там ангел,
столбцами складывает деньги:
пятаки и легкие копейки...
Кыш! – говорит он детям,
птицам и попрошайкам, –
кыш, говорит, отойдите:
не видите, что я занят?)

Гляжу – и в уме рисую:
как себя перед зеркалом темным.

Бусы

Лазурный бабушкин перстень,
прадедовы книги –
это я отдам, быть может.
А стеклянные бусы
что-то мне слишком жалко.

Пестрые они, простые,
как сад и в саду павлины,
а их сердце из звезд и чешуек.

Или озеро, а в озере рыбы:
то черный вынырнет, то алый,
то кроткий, кроткий зеленый –
никогда он уже не вернется,
и зачем ему возвращаться!

Не люблю я бедных и богатых,
ни эту страну, ни другие,
ни время дня, ни время года –
а люблю, что мнится и винится:
таинственное веселье.
Ни цены ему нет, ни смысла.

Путешествие

Когда кончится это несчастье
или счастье это отвернется,
отойдет, как высокие волны,

я пойду по знакомой дороге
наконец-то, куда мне велели.

Буду тогда слушать, что услышу,
говорить, чтобы мне говорили:

– Вот, я ждал тебя – и дождался.
Знал всегда – и теперь узнаю.
Разве я что забуду? –

Каждый хочет, чтоб его узнали:
птицы бы к нему слетались,
умершие вставали живыми,
звери зверят приводили

и медленно катилось время,
как молния в раннем детстве.

ТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ

*Памяти бабушки
Дарьи Семеновны
Седаковой*

1

– Пойдем, пойдем, моя радость,
пойдем с тобой по нашему саду,
поглядим, что сделалось на свете!

Подай ты мне, голубчик, руку,
принеси мою старую клюшку.
Пойдем, а то лето проходит.

Ничего, что я лежу в могиле, –
чего человек не забудет!
Из сада видно мелкую реку.
В реке видно каждую рыбу.

2

Что же я такое сотворила,
что свеча моя горит не ясно,
мигает, как глаза больные,
бессонные тусклые очи? –

Вспомню – много; забуду – еще больше.
Не хочу ни забывать, ни помнить.

Ах, много я на людей смотрела
и знаю странные вещи:
знаю, что душа – младенец,
младенец до последнего часа,

всему, всему она верит
и спит в разбойничьем вертепе.

3

Женская доля – это прялка,
как на старых надгробьях,
и зимняя ночь без рассказов.

Росла сиротой, старела вдовой,
потом сама себе постыла.

Падала с неба золотая нитка,
падала, земли не достала.
Что же так сердце ноет?

Из глубины океана
выплывала чудесная рыба,
несла она жемчужный перстень,
до берега не доплыла.
Что в груди, как вьюга, воет?

Крикнуть бы – нечем крикнуть,
как жалко прекрасную землю!

Кто рождается в черный понедельник,
тот уже о счастье не думай:
хорошо, если так обойдется
под твоей пропащей звездой.

Родилась я в черный понедельник
между Рождеством и Крещеньем,
когда ходит старая стужа,
как медведь на липовой ходуле:
– Кто там, дескать, варит мое мясо,
кто мою шерсть прядет-мотает?
и мигали мелкие звезды,
одна другой неизвестней.

И мне снилось, как меня любили
и ни в чем мне не было отказа,
гребнем золотым чесали косы,
на серебряных санках возили
и читали из таинственной книги
слова, какие я забыла.

Как из глубокого колодца
или со звезды далекой
смотрит бабушка из каждой вещи:

– Ничего, ничего мы не знаем.
Что видели, сказать не можем.

Ходим, как две побирушки.
Не дадут – и на том спасибо.

Про других мы ничего не знаем.

6

Были бы мастера на свете,
выстроили бы часовню
над нашим целебным колодцем
вместо той, какую здесь взорвали...

Было бы у меня усердье,
шила бы я тебе покровы:
или Николая Чудотворца,
или кого захочешь...

Подсказал бы мне ангел слово,
милое, как вечерние звезды,
дорогое для ума и слуха,
все бы его повторяли
и знали бы твою надежду... –

Ничего не надобно умершим,
ни дома, ни платья, ни слуха.
Ничего им от нас не надо.
Ничего, кроме всего на свете.

По дороге длинной, по дороге пыльной
шла я и горевала –
знаешь, как люди горюют?
Когда камень поплывет, как рыба,
тогда, говорю, и будет
для души моей жизнь и прощенье.

Поплывет себе камень, как лодка,
легкая при попутном ветре,
расправляя золотые ветрильца,
пестрые крапивницыны крылья,
золотыми веслами мелькая
по дальнему шумному морю.

И что было, того не будет.
Будет то, чего лучше не бывает.

Ты гори, невидимое пламя,
ничего мне другого не нужно.
Все другое у меня отнимут.
Не отнимут, так добром попросят.
Не попросят, так сама я брошу,
потому что скучно и страшно.

Как звезда, глядящая на ясли,
или в чаще малая сторожка,
на цепях почерневших качаясь,
ты гори, невидимое пламя.

Ты лампада, слёзы твое масло,
жестокое сердца сомненье,
улыбка того, кто уходит.

Ты гори, передавай известье
Спасителю, небесному Богу,
что Его на земле еще помнят,
не всё еще забыли.

9

(Молитва)

Обогрей, Господь, Твоих любимых –
сирот, больных, погорельцев.

Сделай за того, кто не может,
всё, что ему велели.

И умершим, Господи, умершим –
пусть грехи их вспыхнут, как солома,
сгорят и следа не оставят
ни в могиле, ни в высоком небе.

Ты – Господь чудес и обещаний.
Пусть все, что не чудо, сгорает.

1982

ПРИБАВЛЕНИЯ К «СТАРЫМ ПЕСНЯМ»

Посвящение

Помни, говорю я, помни,
помни, говорю и плачу:
все покинет, все переменится
и сама надежда убивает.

Океан не впадает в реку;
река не возвращается к истокам;
время никого не пощадило –

но я люблю тебя, как будто
все это было и бывает.

* * *

Плакал Адам, но его не простили.
И не позволили вернуться
туда, где мы только и живы:

– Хочешь своего, свое и получишь.
И что тебе делать такому
там, где сердце хочет, как Бог великий:
там, где сердце – сиянье и даренье.

* * *

Холод мира
кто-нибудь согреет.

Мертвое сердце
кто-нибудь поднимет.

Этих чудищ
кто-нибудь возьмет за руку,
как ошалевшего ребенка:

– Пойдем, я покажу тебе такое,
чего ты никогда не видел!

1990 – 1992

.....

ВОРОТА. ОКНА. АРКИ

1979–1983

.....

Давид поет Саулу

Да, мой господин, и душа для души –
не врач и не умная стража
(ты слышишь, как струны мои хороши?),
не мать, не сестра, а селенье в глуши
и долгая зимняя пряжа.

Холодное время, не видно огней,
темно и утешиться нечем.
Душа твоя плачет о множестве дней,
о тайне своей и о шуме морей.
Есть многие лучше, но пусть за моей
она проведет этот вечер.

И что человек, что его берегут? –
гнездо разоренья и стона.
Зачем его птицы небесные вьют?
Я видел, как прут заплетается в прут.
И знаешь ли, царь? не лекарство, а труд –
душа для души, и протянется тут,
как мужи воюют, как жены прядут
руно из времен Гедеона.

Какая печаль, о, какая печаль,
какое обилие печали!
Ты видишь мою безответную даль,

где я, как убитый, лежу, и едва ль
кто знает меня и кому-нибудь жаль,
что я променяю себя на печаль,
что я умираю вначале.

И как я люблю эту гибель мою,
болезнь моего песнопенья!
Как пленник, захваченный в быстром бою,
считает в ему неизвестном краю
знакомые звезды – так я узнаю
картину созвездия, гибель мою,
чье имя – как благословенье.

Ты знаешь, мы смерти хотим, господин,
мы все. И верней, чем другие,
я слышу: невидим и непобедим
сей внутренний ветер. Мы всё отдадим
за эту равнину, куда ни один
еще не дошел, – и, дожив до седин,
мы просим о ней, как грудные.

Ты видел, как это бывает, когда
ребенок, еще бессловесный,
поднимется ночью – и смотрит туда,
куда не глядят, не уйдя без следа,
шатаясь и плача. Какая звезда
его вызывает? какая дуда
каких заклинателей? –

Вечное *да*
такого пространства, что, царь мой, тогда
уже ничего – ни стыда, ни суда,

ни милости даже: оттуда сюда
мы вынесли всё, и вошли. И вода
несет, и внушает, и знает, куда...

Ни тайны, ни птицы небесной.

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

1

Печаль таинственна, и сила глубока.
Семь тысяч лет в какой-нибудь долине
она лежала, и когтями ледника
ее меняли и ценили.

А то поднимется, как полный водоем, —
и листьям хочется сознания.
И хочется глядеть в неосвещенный дом,
где спит, как ливень, мирозданье.

2

Ни морем, ни древом, ни крепкой звездой,
ни ночью глубокой, ни днем превеликим –
ничем не утешится разум земной,
но только любовью отца и владыки.

Ты, слово мое, как сады в глубине,
ты, слава моя, как сады и ограды,
как может больной поклониться земле –
тому, чего нет, чего больше не надо.

3

Блудный сын возвратится, Иосиф придет в Ханаан
молодым, как всегда, и прекрасным сновидцем.

И вода глубины, и огонь перевернутых стран
снова будущим будут и в будущем будут двоиться.

- Поднимись, блудный сын, ты забыл, как живут на земле.
Погляди, как малейшее мир победит и пребудет.
И вода есть зола неизвестных огней, и в золе
держит наш Господин наше счастье и мертвого будит.

4

Я не могу подумать о тебе,
чтобы меня не поразило горе.
И странно это – почему?

Есть, говорят, сверхтяжелые звезды.
Кажется мне, что любовь тяжела,
как будто падает.
Она всегда
как будто падает –

и не как лист на воду
и не как камень с высоты –
нет, как разумнейшее существо,
лицом, ладонями, локтями
сползая по какой-то кладке...

5

Всегда есть шаг, всегда есть ход, всегда есть путь.
Да не сдадимся низким целям.
Так реки, падая, твердят ущельям:
всегда есть шаг,
всегда есть ход,
всегда есть путь.

Как труп, лежу я где-нибудь –
или в начале наважденья?
Но кто попробует? Кто вытерпит виденье,
глядящее в пустую грудь?
Всегда есть шаг, всегда есть ход, всегда есть путь.

6

Когда настанет час,
и молот взмахнутый сойдется с наковальней,
и позовут людей от родины печальной,
какого от какой, какого от кого,
от сна, от палача, от сердца своего,
от всей немилости.
И мученики встанут
и скажут: Не зачисли им за грех!
Мы точно знаем, что они не знают,
что делают.
Кто это знает?
кто знает то, что больше всех?

Как молнии мгновенные деревья
и разветвленные, как дуб,
зло падает, уничтожая ум.
Кто, кто поможет им не жечь, не мучить,
не убивать?

Я так люблю
эти дома, принадлежащие молитве,
эти огни, принадлежащие любви,
и в долгом плаванье Часов или Вечерни
голос, как голубь с известием земли:

– Ну поднимись, несчастное создание,
и поделись со мной, чем Бог тебе подаст;
мы вместе так и так,
и на руках страдания,
как дитя простое, укачают нас.

Горная ода

I

Где высота сама себя играет
на маленьком органе деревенском
и на глазах лазурь изображает,
но голосом не взрослым и не женским —
а где-нибудь в долине удивленной
водой, перебегающей повсюду,
Моравии, Баварии зеленой
перемывая чистую посуду,
там в каменный кувшин с колоколами
упрятано готическое пламя.

II

Пусть готика, как это ей природно,
направит вверх вектор вертикали,
чтоб там она закончилась свободно,
как некогда преданье о Граале,
и копьеносцы и каменотесы
на острие иглки безвоздушной
вдруг задохнулись от надежды тесной
и не коснулись чаши невозможной —
а небо только падает глубоко,
как тот, кто спит на берегу потока.

III

Он спит и управляет сновиденьем,
как плоскодонной лодкой на порогах,
и звук, приподнимаясь над селеньем,
кончается в таких же одиноких,
и все они – его земля родная,
и выбрать невозможно, и не нужно,
переправляя их и пропадая
в существовании, в воде воздушной,
где, говорят, мы жили, как другие,
как снег в горах, как реки в летаргии.

IV

Скажи, скажи на языке Кирилла
или на том, какого не бывало,
как снисхождение с нами говорило
и небо прятало, как покрывало.
Есть имена, похожие на чины.
Они живут, как колокол в ущелье,
как непонятной верности причины
и как игра, не знающая цели,
когда она летит одушевленно
на свет сторожевого легиона.

V

Не родственный ни близости, ни дали,
их колокол, раскачиваясь в нише,
есть миг, когда они существовали, –
и в этот миг они спускались ниже.

То Руфью отзываясь, то Рахилью,
глядела жизнь, как рядом пировали,
не зная, для чего ее растили
и где конец ее чужой печали.
Другим хотелось много, ей – едва ли:
лечь и лежать, и чтоб ее назвали.

VI

Лежать, чтобы ее покоил голос,
который наклоняет котловины
и выдувает полости, и полость
в вино преобразует сердцевины.
Чтобы одно звучание носило,
как крепкое крыло возникновенья,
над пропастью без имени и силы,
но страшного, живого тяготенья.
и время шло, и время было слово,
не называя ничего другого.

VII

Чтоб горы – драгоценная равнина,
увиденная оком недреманным
взволнованных озер, стоящих *выну*
над тем многоочитым океаном, –
глядели, как она была любима
и как она спускалась по ступеням,
по каменным порогам, по долинам
с тысячекратно узнанным терпеньем.
И, наблюдая, как она терялась,
сама земля без меры повторялась.

VIII

И снился ей какой-то сон случайный,
почти печальный сон исчезновенья,
неведомо печальный. Но печали
он сразу же задумал удвоенье:
как будто дети, умершие рано,
как над ручьем, играющим в апреле,
стояли над своей могилой странной
и ни жалеть, ни плакать не умели.
И отраженных обликов мученье
им было неизвестно, как ученье.

IX

И так они стояли и молчали.
И только брали из случайной смерти
все то, что им напрасно обещали,
чего никто не пробовал на свете —
но каждый ждал. И выныл, как чадо,
и, плача, передал его загробью:
— Я только тень, но большего не надо.
Подобие, влюбленное в подобье.
И эту тень, как чашку с белым светом,
возьми себе, и позабудь об этом.

X

Не на такой ли круглой вертикали
мне дар передавали безвозмездный,
и золотом, как взглядом, отыскивали
и разрешили от надежды тесной?

Не тайны, и не силы, и не бездну,
мне показали дерево простое –
и странно было знать, что я исчезну,
когда листва заговорит с листвою,
и буду спать в корнях его глубоких,
как спят деревья при живых потоках.

XI

Все, что исчезнет, будет как дорога.
И лежа мы уходим в путь невольный,
где круглая, как яблоко, тревога
катается в котомке колокольной:
скажи, скажи, на языке награды,
на языке, спускавшемся в загробье:
есть дудка, открывающая клады, –
звучащее подобие пощады –
и клад, и смысл, и образец подобья.

Маленькое посвящение
Владимиру Ивановичу Хвостину

Бесконечное скажут поэты.
Живописец напишет конец.
Но о том, что не то и не это,
из-за двери тяжелого света
наблюдают больной и певец.

И, конечно, он легкого легче.
И, конечно, он тоже болит,
нашей жизни и правды орешник:
düftig, düftig... du Nächste... du Licht... –

Будто вдруг непомерные двери
растворяя у всех на глазах –
и навстречу, как розы в партере, –
время, время в бессмертных слезах.

Последний читатель

Саше

...И в эту погоду, когда, как вину,
мы рады тому, что ни слуху, ни глазу
нельзя погрузиться в одну глубину,
коснуться ее – и опомниться сразу

(и что этот образ? не явь и не сон,
не заболевание и не исцеленье,
а с криком летящая над колесом
мгновенная ласточка одушевленья),

тогда он и скажет себе:
– Чудеса!
Не я ли раздвинул тяжелые вещи,
чтоб это дышало и было как сад,
как музыка около смысла и речи,

и было псалтырью, толкующей мне
о том, что никто, как она, не свободен, –
словами, которых не ищут в уме,
делами, которых нигде не находят.

Но, Господи, где же надежда Твоя?
Ты видишь – я вижу одними глазами.

И ветер вернется на круги своя.
Я знаю, я чудом задуман, и я,
как чудо, уже не вернусь с чудесами.

Он встанет, и сядет, и встанет опять,
и в темные окна глядит, холодея.
А сад будет литься, скрипеть, лепетать
и жить как одно приключение Психеи.

Статуэтка слона

З. Плавинской

На востоке души, где-то возле блаженных Аравий,
в турмалиновых гнездах, откуда птенцов воровали,

и летающих рыб, и драконов на заячьих лапах,
и больших изречений всегда наркотический запах,

мы, должно быть, бываем тем деревом прочным и чистым,
темной люлькой для образов, снящихся змеям пятнистым.

– О, ты будешь слоном! – говорит ему мастер голодный...
Ибо тяжесть земная выходит из клетки народной.

Золотые бока и надбровные царские шишки...
Ибо тяжесть земная с дозорной спускается вышки.

Каждый образ хорош. Только слон поправляет ограды...
Это тяжесть земная, вздыхая, уходит из сада...

Как же хочется быть драгоценным и тихим созданием,
чтоб его захватили, простясь со своим мирозданием!

Каждый образ хорош, каждый облик похож на ресницы,
увлажненные сном. Каждый знает, кому поклониться...

И не все ли равно – рассыпаться, как облако пыли,
или резать слонов и следить, чтоб они говорили.

Ночное шитье

Тяне

Уж звездное небо уносит на запад
и Кассиопеи бледнеет орлица –
вот-вот пропадет, но, как вышивки раппорт,
желает опять и опять повториться.
Ну что же, душа? что ты, спишь, как сурок?
Пора исполнять вдохновенья урок.

Бери свои иглы, бери свои рядна,
натягивай страсти на старые кросна –
гляди, как летает челнок Ариадны
в твоём лабиринте пред чудищем грозным.
Нам нужен, ты знаешь, рушник или холст –
скрипучий, прекрасный, сверкающий мост.

О, что бы там ни было, что ни случится,
я звездного неба люблю колесницы,
возниц и драконов, везущих по спице
все волосы света и ока зеницы,
блистание нитки, летящей в иглу,
и посвист мышиный в запечном углу.

Как древний герой, выполняя задание,
из сада мы вынесем яблоки ночи
и вышьем, и выткем свое мирозданье –

чулан, лабиринт, мышеловку, короче –
и страшный, и душный его коридор,
колодезь, ведущий в сокровища гор.

Так что же я сделаю с перстью земною,
пока еще лучшее солнце не выйдет?
Мы выткем то небо, что ходит за мною,
откуда нас души любимые видят.
И сердце мое, как печные огни,
своей кочергой разгребают они.

Кузнечик и сверчок

The poetry of Earth is never dead.

John Keats

Поэзия земли не умирает.
И здесь, на Севере, когда повалит снег,
кузнечик замолчит. А вьюга заиграет –
и забренчит сверчок, ослепший человек.
Но ум его проворен, как рапира.
Всегда настроена его сухая лира,
натянут важный волосок.
Среди невидимого пира –
он тоже гость, он Демодок.
И словно целый луг забрался на шесток.

Поэзия земли не так богата:
ребенок малый да старик худой,
кузнечик и сверчок откуда-то куда-то
бредут по лестнице одной –
и путь огромен, как заплата
на всей прорехе слуховой.

Гремя сердечками пустыми,
там ножницами завитыми
всё щелкают над гривами златыми
коней нездешних, молодых –
и в пустоту стучат сравненья их.

Но хватит и того, кто в трубах завывает,
кто бледные глаза из вьюги поднимает,
кто луг обходит на заре
и серебро свое теряет –
и всё находит в их последнем серебре.

Поэзия земли не умирает,
но если знает, что умрет,
челнок надежный выбирает,
бросает весла и плывет –
и что бы дальше ни случилось,
надежда рухнула вполне
и потому не разучилась
летать по слуховой волне.

Скажи мне, что под небесами
любезнее любимым небесам,
чем плыть с открытыми глазами
на дне, как раненый Тристан?..

Поэзия земли – отважнейшая скука.
На наковаленках таинственного звука
кузнечик и сверчок сковали океан.

Осень, огонь и путник

В стеклянной храминке, потом в румяной туче
полупрозрачного плода
мгла осени, как зернышко, лежит.
Внутри нее огонь бежит
из ниоткуда в никуда.

Ведь Осень-Гестия очаг оберегает.
Там, в глубине его, поет
все то, что дождь беспамятный смывает,
что снег ближайший заметет,
что в сердце тяжком обрывает
озябший путник у ворот.

И вот его к огню сажают,
И ветер внутренний цевницу достает:

— Я вижу копи золотые
или ночные города:
померкшие, пережитые
и будущие, как слюда.
Но более всего люблю я просто пламя.
Оно ныряет вензелями
в ту глубину, которую вокруг
никто за правду не считает,
откуда к нам кометы долетают,

где всё *бывает*, милый друг, –
а пламя дальше выплывает,
как золотой тритон, припаянный к трубе.
Он говорит: я знаю о тебе,
но ничему не доверяю.

И это правда.
Бедный узник
невидимых полупрозрачных век,
на что, на что походит человек,
а уж на жизнь свою больную
он не походит никогда;
ни в раннем детстве, ни тогда,
когда в лицо он старость видит
и ей неслышно говорит:

– Рисуи на мне начальные черты
твоих имен: таких, как Твердь, Руда,
Мирская Мгла, Вечернее Прошенье.

Пиши на мне болезненное имя.

Я и в слезах его пойму
и передам, пересыпаясь,
как неприметное селенье,
как горсть огней –
из темноты во тьму.

Вьюга

В. Лапину

Волною морскою скрывшаго древле...

За Крестопоклонной, как дело пойдет
к тому, чтобы все повернуло обратно,
и желчь, начиная казаться, как мед,
кончает. И горше стократно.

И пятна
темнеют у самых церковных ворот,
и дальше, и дальше... Уходит народ
от скорбной вечерни. Но так же невнятно
вся ночь захолустья обратно бредет –
волною морскою всю ночь напролет.

И это недаром: как в теплой золе,
там, видно, тепло. Там, от вьюги неровный,
желтеет последний огонь на земле.
Там сторож сидит с побирушкой церковной –
как в теплой золе, как в утробе укромной.
А ветер, а ветки, а снег на стекле
и сами как будто не дома во мгле
и просят прохожих в тоске беспокровной
идти и идти, как к звезде баснословной
и словно к костру на холодной земле.

К полуночи сторож постель разберет,
и нищенка ляжет. При свете нерезком
появится что-то – и тут же пройдет.
Как будто по городу, полному блеском,
какая-то тень. Опечаленным треском
откликнется печь. Но и это пройдет.
И это пройдет, и веками идет,
и плачет, и плачет в отчаянье детском,
как будто на озере Геннисаретском –
волною морскою всю ночь напролет.

Ни темной старины заветные преданья

В. Аксютину

Есть странная привязанность к земле,
нелюбящей; быть может, обреченной.
И ни родной язык, в его молочной мгле
играющий купелью возмущенной,
не столько дорог мне, ни ветхие черты
давнопрошедшей нищеты,
премудрости неразличенной.

И ни поля, где сеялась тоска
и где шумит несжатым хлебом
свои сказания бесчисленной песка
вина перед землей и небом:

– О, не надейся, что тебя спасут:
мы малодушны и убоги.
Один святой полюбит Божий суд
и хвалит казнь, к какой его везут,
и ветер на пустой дороге.

Сельское кладбище

Мы приезжали на велосипедах к погосту
восьмнадцатого века,
мы не клялись, но взрослые не знали, и это было лучше
каждый раз,
где двигались церковные деревья вдоль неба, как
ненынешние реки,
их тени расходились и сходились и обрывали разговор
при нас.

Чугунный ангел свиток или факел придерживал: трех
девочек старинных
он сон оберегал и нам велел
не забывать, что времени немного и что при дифтеритах
и ангидах
шаг слишком явен, голос слишком смел.

Как сердце любит странную надежду. Как ветер жизни,
страшный для героя,
качает в колыбельной колыбели. Как сердце любит
память ни о чем,
нигде, никак... Неуловимым взглядом обмениваешься
себе с сестрою,
как этот ствол, едва мы отвернемся, как белый луч
с белёным кирпичом.

Ты, связь времен, и если ты бываешь (а разве нет?), ты
сон выздоровленья,
ты медленно течешь и долго видишь детей перед
могилами детей.

– Пойдем, пора. – Постой, еще немного. Я встану, если
нужно, на колени,
я не боюсь, когда ты разгибаешь свой свиток круглый
до скончанья дней.

Осветит ли мне путь чугунный факел? Заговорит
неговорящий голос?
Я вижу, как нас видят, отстраняя, чтоб лучше разглядеть
последний раз...

Никто не знает берега другого. Никто не вынет
драгоценный образ
из этой неизвестной колыбели. Никто, никто
не разуверит нас...

В психбольнице

Идет, идет и думает: куда,
конечно, если так, но у кого.
А ничего, увидим.

Я тебе!

– Ой, мамочка, не бей меня, не бей,
я не нарочно! –

и давай подол
ловить, а поздно:
мать ушла,
сидит в углу, качает младшую,
а рядом котик небольшой.
Хороший котик, заberi-ка деток.
Ты покачаешь, люди отдохнут...
Вот я тебе!

Усни, мой ангелок... –

Но глубина ее ужасной жизни
не засыпала на руках.
Она подумала – и встала –
разжала руки
и пошла.
И как земля, в земле лежала.

В винном отделе

В. Котову

Отец, изъеденный похмелем,
стучал стеклом и серебром.
Другие пьяницы шумели
и пахли мертвым табаком,
Подвал напоминал ущелье,
откуда небо кажется стеклом.

Ребенок в пурпурной каталке,
в багряных язвах аллергии
сидел, как чучело страдания,
текущего через другие
бессмысленные воды...

Предметы плавали, не достигая дна
расплавленных и слабых глаз.
А там, на дне, труба гудела
и ветер выл. Он был
Больной Король,
хозяин зданья,
где раз в тысячелетие и реже
под музыки нездешнее бряцанье
за святотатственным Копьем
несут болезненную Чашу.
Где плоть, как разум, изнывает.

Зачем, зачем? – труба вызывает
из глаз его полузакрытых, –
зачем, доколе будет смерть лакать
живую кровь? зачем несправедливость
мне сердце обвивает, как питон?
Я не Геракл, я сам, как сон.
И сам из-под пяты взвиваюсь,
над язвами Земли Святой
безумным терном обвиваюсь,

когда неслышными шагами
под музыку, идущую кругами,
за святотатственным Копьем
несут болезненную Чашу –

и, погибая, сердце наше
мы сами, словно оцет, пьем!

Зачем, зачем! – труба вызывает, –
мне жизнь, как печень, разрывают?
доколе мне в скале гореть?
доколе будет смерть гудеть?
и с искрами свистеть, взлетая,
земля, от крови золотая?
и все, что было, будет впредь...

Лицинию

Л. Евдокимовой

Помнишь, апрель наступал? а вот уж в его середине,
как в морском путешествии – ветра свист и вещие рощи.
Но как мне хочется жить! Это просто нелепо, Лициний,
словно пробку топить в океане гибели общей.

На корабле государства мы едем сдыхать от позора.
Ибо кому же охота железо лизать на морозе?
Ибо не небо – земля, ибо и завтра – не скоро,
а сегодня шумит. А сегодня – как старец Тиресий.

Старый образ бабочки и свечи принесу я из трюма:
нужно мне поглядеть сильной смерти крылья и корни.
Там и пойдет океан причитать, как слепец, сочиняющий
думу
перед жадным народом, который его не накормит.

О океан-мотылек! кто сложил, кто раскрыл твои крылья?
кто ложками линий
вычерпал сердце мое так, что там ничего не осталось?
Вот как живет океан. Кто живет, Расскажи мне, Лициний,
в золотой середине свечи, чтоб она и в конце улыбалась?

Елене Шварц

1

Есть нечто внутри, как летающий прах,
как дух, переживший заклатье.
Ваш голос – идущий, он дальше, в горах,
он, видно, ягненка несет на руках,
и хмурится светлое платье.

Как будто сказали мне: – Стой и смотри,
не часто такое встречали:
Ваш образ – как уголь горящий внутри,
где все сожжено, как в начале.

2

Кинфии

Нет, не забудут тебя, если будут кого-нибудь помнить.
Тихого мальчика в сад тихий садовник ведет:
– Видишь розы мои? это Гораций. А это,
возле фиалок Сафо, – Кинфия, тайна и мак.

На смерть Владимира Ивановича Хвостина

1

Кончен труд, мой бедный, кончен труд
счастья и надежды: безупречный
труд любви. И что же, нас сотрут,
как рисунок мелом? Дар сердечный,
обаянье будущего, Млечный
точный путь, которым нас ведут...
Или не доводят? Друг мой *вечный*,
или вечность – только тут?

Мужество есть лучшее, чем жизнь.
Есть такое удивленье,
для которого мы родились.
Как в порыве первого движенья,
он лежит – и переносит жизнь
на руках благословенья.

Как ребенка на руках,
вынесет через горящий прах
исцеление и пенье,
жизнь, укорененную в веках.
Спит, как будто рад, что в этих снах –
окончательное подтверждение.

В пустыне жизни... Что я говорю,
в какой пустыне? В освещенном доме,
где сходятся друзья и говорят
о том, что следует сказать. Другое
и так звучит, и так само себе,
как дерево из-за стекла, кивает.

В саду у дружелюбных, благотворных,
печальных роз: их легкая душа
цветет в Элизии, а здесь не знает,
как выглянуть из тесных лепестков,
как показать цветенье без причины
и музыку, разредившую звук,
как рассказать о том, что будет дальше,
что лучшее всего...

В саду у роз,
в гостях у всех – и все-таки в пустыне,
в пустыне нашей жизни, в худобе
ее несчастной, никому не видной, –
Вы были больше, чем я расскажу.

Ни разум мой и ни глухой язык,
я знаю, никогда не прикоснутся
к тому, чего хотят. Не в этом дело.
Мы все, мой друг, достойны сострадания
хотя бы за попытку. Кто нас создал,
тот скажет, почему мы таковы,
и сделает, какими пожелает.

А если бы не так... Найти места
неслышной музыки: ее созвездья, цепи,

горящие переплетенья счастья,
в которой эта музыка сошлась,
как в разрешение – вся большая пьеса,
доигранная. Долгая педаль.

Глубокая, покойная рука
лежала б сильно, впитывая всё
из клавишей... Да, это было б лучше,
чем жестяные жалобы разлуки
и совести больной... Я так боюсь.
Но правда ведь, какая-то неправда
в таких стенаньях? Следует конец
нести на свет руками утешенья
и, как в меха, в бесценное созданье
раскаянье закутать, чтоб оно
не коченело – бедное, чужое...
А шло себе и шло, как красота,
мелодия из милости и силы.

Вы видите, я повторяю Вас...

На смерть Леонида Губанова

До свиданья, друг мой, до свиданья.

С. Есенин

Или новость – смерть, и мы не скажем сами:
все другое *больше* не с руки?
Разве не конец, летящий с бубенцами,
составляет звук строки?

Самый неразумный вслушивался в это –
с колокольчиком вдали.
Потому что, Леня, дар поэта
так отраден для земли.

Кто среди сокровищ тяжких, страстных
ларчик восхищенья выбрал наугад?
Кто еще похвалит мир прекрасный,
где нас топят, как котят?

Как эквилибрист-лунатик, засыпая,
преступает через естество,
знаешь, через что я преступаю?
Через ненужность ничего.

До свиданья, Леня. Тройкой из ромansa
пусть хоть целый мир летит в распыл,
ничего не страшно. Нужно постараться.
Быть не может, чтобы Бог забыл.

Встреча

Дом в метели,
или огонь в степи,
или село на груди у косматой горы,
или хибара
на краю океана,
который вечно встает,
как из-под ложечки,
из места, где все безымянное ноет, —

вот где следует жить,
вот где мы,
наконец,
оживем.
Соберем нашу чашку, разбитую вдребезги с горя,
и в вине ее все отразимся —
все, как войдем:

с веселым и любопытным взглядом,
со снегом, с огнем,
с удовольствием видеть друг друга,
с океаном в окне.

А хозяином будет Гиви,
ведь добрей человека
земля не видала.

Весна

Ивану Жданову

Только я сказать хотела:
– Приезжай, навести меня! –
а зима кончается.

Иероглифами кустов и деревьев
с нажимом и без нажима
пишут и пишут.
Ах, по влажной бумаге
невидимой кистью,
по воздуху мягкому, рисовому
писать одно удовольствие –
руку не остановишь.

Воздушная книга, как Хлебников, пишет:
какие-то корнесловия,
колодцы происшествий,
золотые мониета наставшего.
Впрочем, приедешь – увидишь.

Из чулана зимы,
из каморки ночи
солнце выходит –
странно, как оно там умещалось?
Делать нечего, вот теперь и греет.

Нужно ему осветить
что-нибудь важное,
что-нибудь милое...
Приезжай, не откладывай.

Сколько бы человеку
ни светили, ни писали, ни летали,
сколько бы ручки ни рисовали
горы и впадины
нашей равнины,
сколько бы птицы ни говорили,
как небо окружает землю
тысячерукой лазурью,
лазурью, нежной попрошайкой –
а грустно думать, что никто не придет.

Разве ты знаешь, когда будет поздно?
Как снег сойдет, так и нас
хватишься –
а нигде не видно.

Золотая труба

Ритм Заболоцкого

Над просохшими крышами
и среди луговой худобы
в ожиданье неслышимой
объявляющей счастье трубы

все колеблется, мается
и готово на юг, на восток,
очумев от невнятицы –
то хлопок, то свисток, то щелчок.

Но уж – древняя ящерка
с золотым светоглазом во лбу –
выползает мать-мачеха,
освещающая судьбу:

погляди, поле глыбами, скрепами
смотрит вверх, словно вниз
и крестьянскими требами
вдруг себя узнаёт. Объявись!

Объявись, ибо сладко, я думаю,
разнестись, как сверкающий дым,
за ослепшей фортуною,
за ее колесом молодым –

что ослепнет, то, друг мой, и светится,
то и мчит, как ковчег
над ковшами Медведицы, –
и скорей, чем поймет человек.

Там-то силой сверхопытной –
соловей, филомела, судьба –
вся из жизни растоптанной,
объявись, золотая труба!

Сказка, в которой почти ничего
не происходит

1

Для кого приходит радость,
для кого приходит горе –
ни тому и ни другому
мы не будем удивляться
и завидовать не будем.

Многошумною волною,
многоцветным океаном,
покрывалом долготканым
всех когда-нибудь покروют.

Засыпающему снится
жаркий полдень, плоский камень
и заваленный колодец.
Камень нужно отложить.

– Что-то я такое помню, –
говорит он, улыбаясь, –
овцы, солнце и девица,
угоняющая стадо...
То ли это жизнь такая,
то ли в книге Бытия.

2

Плакать я хочу и плакать
не могу. Как бесноватый
некий царь, больной рассудок
говорит служебным духам:
– Принесите, что ли, арфы,
приведите музыкантов.

Многоокиими руками
пусть они меня умоют,
как, бывало, умывали:
на тимпанах и на струнах,
как на тайных родниках,
есть заброшенные чаши,
есть ковши из серебра,
прорицательные звуки.

3

Пусть вперед выходит мальчик,
младший сын и самый слабый.
Кроме странного избранья,
ничего не знает он.

Кто не жил – тот лучше живших
нашу жизнь для нас расскажет.
Кто не плакал – тот опишет
нечто горшее, чем плач.

4

Милый друг мой, друг бесценный,
будешь ли ты дальше слушать,

как доселе слушал? Вижу:
бродит нежное внимание,
собирает глубину –
и высокими цветами
смотрит в низкое окно.

Нет стекла, в каком ушедший
не увидит нас, живущих,
нет небес, в каких отныне
не увижу я тебя.

5

Страшно дело песнопенья
для того, чей разум зорок,
зренье трезво, слово твердо
и над сердцем страх Господень.

Нужно петь, как слабоумный,
быстро, пестро, бесприютно,
нужно бить, как погремушка,
отгоняющая змей:

6

Что ты вьешься, что ты смотришь,
что ты кланчишь, побирушка,
и смиренно причитаешь:
все мое, мое, мое...

7

С фонарями сновидений
мы бредем по тьме кромешной,

шатким светом задевая
ближний куст и дальний дом –

не Лаванов ли? Но что же:
все исчезло, превратилось,
овцы, солнце и девица,
и шумит снотворный мак,
перетряхивая зерна,
рассыпая *чудный сон*.

8

В бедной хижине альпийской
жил да был один знакомый
мне пастух. Пройдя тернистый
узкий склон, перебредя
ключ студёный – я у двери
постучала и вошла.

9

Он сидел и золотистый
прут строгал: он плел загон
для прекрасных рыжеватых
золотых ягнят – их было
столько, что не перечсть.

Свет двойной над ними вился,
расплетался, заплетался:
свет заката золотого
и золотого очага –

вился, сыпался, как стружки,
на руно, на хлеб, на воду,
на овец и пастуха...

И сказал он...
Подожди,

10

если кто-нибудь поверит,
я клянусь, что много счастья
я видала – но такого
невозможно увидеть:

ходит золото в рубахе,
на полу лежит соломой,
испаряется из чаши
и встречается с собой

в золотых глазах ягненка,
наблюдающего пламя,
и в глазах других ягнят,
на закат в окно глядящих...

11

И сказал он: – Ты подумай:
смерти больше не бывает.
Видишь, мы живем, как пламя
в застекленном фонаре.

Кто, скажи, по тьме кромешной
пробирается, качая
наш фонарь? И кто в закрытый
дом заходит, рыбу ест?

Знаешь – кто? Тогда иди.

12

Он открыл мне дверь и вышел.
Вьюга выла, пыль носилась,
гнулись ели – и ручей
пробежал под самой дверью
и ломался хрупкий лед.

– Не забудь, – сказал он важно, –
«горя много, счастья мало». –
Дал мне валенки и скрылся.
– До свиданья! – снег метет –

13

до свиданья! в сновиденье,
на огнях Кассиопеи,
на огне воспоминанья
ни о чем и обо всем,

до свиданья, моя радость!
Дальше снег и лед колючий,
мелкий, пестрый, хрупкий лед.

Страшно дело песнопенья,
но оно мне тихо служит
или я ему служу:

чудной мельнички верчу
золотую рукоятку –
вылетает снег и ветер,
вылетает океан.

Но оно, подобно шляпке,
настигает, исчезая,
карим золотом сверкая
над безглазой глубиной.

Что не нами начиналось,
что закончится не нами,
перемелют в чистой ступке
золотые небеса.

.....

СТАНСЫ В МАНЕРЕ
АЛЕКСАНДРА ПОПА

1979–1980

.....

Стансы первые

Елене Шварц

For ever separate, and for ever near.

A. Pope

1

Поэт есть тот, кто хочет то, что все
хотят хотеть: допустим, на шоссе
винтообразный вихрь и черный щит –
и все распалось, как метеорит.
Есть времени цветов, он так цветет,
что мозг, как хризопраз, передает
в одну ладонь, в один глубокий крах.
И это правда. Остальное – прах.

2

Не смерти, нет – и что нам в этом зле,
в грехе и смерти? в каменной золе
других созданий, рвавшихся сюда
и съеденных пространством, как звезда.
А жизнь просторна, жизнь живет при нас,
любезна слуху, сладостна для глаз,
и славно жить, как будто на холмах
с любимым другом ехать на санях.

3

Какой же друг? Я говорю: мой друг –
и вижу: звук описывает круг,
потом другой, и крутит эту нить,
отвыкнув плакать, перестав просить.
Мой друг! Я не поверю никому,
что жизнь есть сон и снится одному –
и я свободно размыкаю круг:
благослови тебя Господь, мой друг.

4

И ты, надежда. Ты равняешь всех:
все водят, *это* прячется: в орех,
в ближайший миг, где шумно и черно,
в сушеный мак, в горчичное зерно –
ох, знаю я: в мельчайшую из стран
ты катишь свой мгновенный балаган,
тройные радуги, злаченный мрак.
А безнадежность светит нам, и как!

5

Кто день за днем, как нищий в поездах,
с притворными слезами на глазах
в ворованную шапку собирал –
тот, безнадежность, знает твой хорал.
Он знает это зданье голосов,
идущее в черновике лесов
всё выше, выше – и всегда назад.
И сам поправит, если исказят.

6

Так пусть же нам покажут ночь в горах,
огонь в астрономических садах
и яблоню в одежде без конца
как бы внутри несчастного лица.
Ее одежда не начнется там,
где лепестки начнутся: по пятам
за ней пойдут соцветья и цветы
в арктическую рощу высоты.

7

Там страшно, друг мой. Там горит Арктур
и крутятся шары. Там тьма фигур
с пристрастьем наблюдает мир иной
и видит нас сверкающей спиной:
как будто мы за ней идти должны
из тьмы глубоководной глубины.
И мы идем, глотая пыль и соль,
как шествие, когда вошел король

8

и движется по улицам своим
к собору кафедральному. Пред ним
опустошенье. Позади него –
миллионом спичек чиркнув, вещество
расходится на лица и дома,
столбы, как их расставила чума,
простые арки, плаванье и звон...
Но *что* он видит – знает только он.

9

Ни смерть, ни жизнь, ни зверь, ни человек
и ни надежды безнадежный бег,
ни то, что мы оправданы давно,
ни то, что в глубине моей темно,
не есть желанье, ни желанья часть.

Желанье – тайна. О, желанье – пасть
и не поднять несчастного лица.
Не так, как сын перед лицом отца:

10

как пред болящим – внутренняя боль.
И это соль, и осолится соль.

Стансы вторые
На смерть котенка

Ach, wie nichtig, ach wie flüchtig...

1

Что делает он там, где нет его?
Где вечным ливнем льется существо,
как бедный плащик, обмывая прах
в случайных складках на моих руках,
не менее случайных. Разве сон
переживает душу, как озон
свою грозу – и говорит о ней
умней и тише, тише и умней.

2

Тогда крути, Фортуна, колесо,
тень мнимости, Сатурново кольцо,
тарелку у жонглера на шесте
в обворожившей сердце пустоте.
Но даже на тарелке пылевой,
где каждый обратится в призрак свой,
мы будем ждать в земле из ничего,
прижав к груди больное существо.

3

Больное, ибо смерть – болезнь ума,
не более. Болезнь и эта тьма,
в которую он смотрит, прям и нем,
Бог знает где, Бог знает перед кем.
На твой точильный круг, на быстрый шум,
исчезновенье! пусть наложит ум
свой нож тупой – и искры засвистят,
и образы бессмертные взлетят.

4

Вращаясь, как Сатурново кольцо, –
о горе. Кто кому глядел в лицо?
кто знал кого? к тому, что за спиной,
оглянется – и образ соляной
останется. Мужайся, жизнь моя:
мы убегаем из небытия
огромной лентой, выющим шнуром,
гуськом предвечным над защитным рвом.

5

Но если бы с обидой или злом
они являлись! колотым стеклом
кидая нам в глаза – и в тот же миг
живые слезы вымывали их!
Ну, поднимись! Лежать в уме ничком
немыслимо; держаться ни на чем,
не быть ничем, крошиться, как слюда,
катиться, как шеольская вода!

6

галактика? воронка? водопад?
рассыпанный и распыленный клад?
но что-то там болеет: бедный путь,
как ящерка, мелькнувший где-нибудь,
среди камней, быть может, мировых,
бесценных, славных. Только что нам в них.
И нужен облик, видимый, как снег:
он колыбель, качающая всех.

7

Живое живо в глубочайшем сне,
в забвении, в рассеянье, на дне
какого-то челна: не дух, не плоть,
но вся кудель чудес Твоих, Господь.
Оно признание – собеседник Твой.
Оно сознания ливень проливной.
Под шум воды на крышах шумовых
оно заснуло на руках Твоих.

8

Грядущее – как степь, как решето.
Не бойся и не жалуйся: ничто
здесь все равно не будет *больше* слез.
Все остальное пусто, как мороз
арктический. А он себя сомкнул,
и холмик смерти быстро обогнул,
и побежал, словно увидел цель.
И в эту шерсть уходит взгляд, как в щель.

И все пройдет, и все летит, как снег:
изнанка зренья, оболочка век,
пустого сновиденья вещество
или измученное существо –
неважно. Все уйдет из глаз моих
по образам и по ступеням их,
все катится, как некий темный шар,
разматывая *имени* пожар.

Стансы третьи

Вино и плавание

Non vogliate negar l'esperienza
di retro al sol, del mondo senza gente...

Dante. Inf. XXVI, 117–118

1

Существованье – смутное стекло.
Военный марш или роман Лакло,
или трактат о фауне озер –
мне все равно. Гадательный прибор
повсюду крылья пробует, горит
и в зрении, как бабочка, сорит
другими временами, и другой
моток пространства катит перед собой.

2

Я не люблю старинных небылиц
о призраках убитых и убийц,
и если их нацедит ночь сама –
тяжелый хмель трусливого ума
я выплесну: судьбой теней своих
пусть бесы потешают псов цепных
и, чью-то совесть подцепив крючком,
показывают в облике ручном –

3

чур, чур, меня! сам воздух, самый ход
его: подобье капилляров, сот,
безвидных гротов, кованых оград –
не пустится на этот маскарад.
Но полночь – кубок; я возьму его,
и смертных чувств простое вещество,
бесстрашное – да будет вживлено
в поминовенье, сладкое вино.

4

Оно одно – обширная, ничья,
единственная родина, края,
в которых, кроме края, ничего.
Когда-нибудь другое существо
возьмет его и вспомнит обо мне,
как будто я давно уже вовне
или не то, что здесь передо мной
стоит, пренасыщаясь глубиной...

5

Ну, колеса тяжелый поворот:
ход краткостей, верхов, низов, долгот,
машина звука, плавание в уме,
движение по неведомой кайме.
Не правда ли? нам жить не надоест,
пока мы не увидим Южный Крест –
и ради сострадания звезд чужих
употребим остаток чувств земных!

6

Бездейственное плавание влечет
особенно: как будто дальше ход,
похожий на мышиный. Вот туда
с тяжелым стоном тянется вода.
О, говорят, что есть еще места,
где здешнего пространства теснота
пульсирует, и кажется другой –
проколотой таинственной иглой.

7

Внутри? о да. Но лучше не внутри,
а где-нибудь. Скорее оботри
от *внутреннего* драгоценный жар,
кристальный куб, пересеченный шар:
оно мелькает, как летучий прах,
всё счастья ждет, всё топчется в дверях,
всё ноет, будто ты чего жалел
или свой хлеб перед голодным ел –

8

и ну его. Уж если быть, то быть
несчастливыми без оговорок: плыть
прямо в прозор двух щелкающих скал
и, как ребенок, знать, что ты пропал:
– Глядите же вы все, как я хочу,
чтоб вы меня не знали! как взлечу
куда-нибудь из ваших черных дыр –
вы, чудища, и ты, проклятый мир!

9

Как сироты, привыкнущие красть,
врать, сквернословить, прятаться – и всласть
всё думать, думать, думать что есть сил,
что лучше бы их этот Бог забыл,
что Он как боль в кишках, как соль в глазах... –
вдруг видят сон: неразличимый прах
расходится, спокойно отстоя.
И кто-то молвит: – Умница моя,

10

я знаю кое-что о чудесах:
они как часовые на часах.

Стансы четвертые

Памяти Набокова

And then the gradual and dual blue,
As night unites the viewer and the view.

Pale Fire

1

Есть некий дар, не больший из даров;
как бы расположение шаров,
почти бильярд – но если сразу сто,
задетые одним, летят в ничто.
Мой бедный друг, воображаешь ты
корзину беспримерной темноты?
ничуть не так. Вот замысел игры:
его объем есть острие иглы.

2

Дремучая зима, солнцеворот,
когда мороз свою лучину жжет.
Суровое созвездье-полуконь
стоит, нацелясь в низовой огонь
огнем другим – и чу, свистит стрела.
И чучело альпийского орла
за перевалом брэнности земной,
словно рожок, беседует со мной.

3

Как странно: быть, не быть, потом начать
немного быть; сличать и различать,
как бабочка, летающий шатер
с углом и лампой, с линиями штор,
кончать одно и думать о другом,
как облако, наполнить целый дом,
сгуститься в ларчик, кинуться в иглу
и вместе с ней скатиться в щель в углу.

4

И триста лет лежать себе в пыли –
и вдруг звучать, как бой часов вдали.

5

Неслышимая музыка звучней.
Собрав миряд рассеянных лучей,
она для нас играет за углом
огромным зажигательным стеклом.
И нравится ее простая весть
о том, что все не здесь – и снова здесь,
что йскрится хрусталик слуховой,
как снежный порох в бездне меховой...

6

Что это, арфа, клавиши? мой друг,
ничто нам не напомнит этот звук.
То в Альпах непроглядная пурга,
то легкий дух трубит в свои рога.

То дух созвучий, двух и снова двух,
и тот далеко отлетевший дух,
который наполняет этот стих,
как фульский кубок в глубинах морских.

7

Среди старинных стесанных монет
и денег государств, которых нет,
дукатов, и цехинов, и гиней –
среди всего, что умный казначей
собрал по свету и послал назад,
где всё сочтет подводный нумизмат, –
дух говорит, как клады из волны,
изъеденные солью глубины.

8

Клянусь: и дар, и несравненный труд,
и этот всё вмещающий сосуд,
который сохраняют времена
для некоего нового вина,
мы берегли ревнивей, чем король
из неизвестной Фулы: только соль
возьмет его, когда я предпочту,
как пустота, увидеть пустоту.

9

Затем, что, замирая перед ней,
живая плоть исполнена теней
или видений: дуя на ожог,
бессмертие играет, как рожок.

И сладостно меж образов своих,
шаров, шатров и коридоров их
существовать. Но сладостней всего
уйти из них, не помня ничего.

10

А эти все, кто мучает других,
кто скверными губами скверный стих
разжевывает, кто сует в гробы
учебники рабов: мы не рабы, –
кто хочет зла, как будто зло – еда,
и сам себе отвертен навсегда
и выветрится, как кухонный чад, –
мне жалко их. Но пусть они молчат.

11

Никто не знает, где он будет жив
и где живет, разлуку разложив
на колебанья зрительной волны
фосфоресцирующей глубины,
как дух и тень. И всё соединит,
и всё рассыплет. Царственный магнит,
дар привлекает множество даров
и катится, как ливень из шаров.

12

Так выпьем кубок, сложенный, как соль,
за эту жизнь, похожую на боль –
и всё же на пастушеский рожок.
За дальний звук, который ум зажжет

и сердце отогрел – и не могло
перемениться смутное стекло.
Еще за то, что мы прискорбно злы.

За милосердье – острие иглы.

Кода

Поэт есть тот, кто хочет то, что все
хотят хотеть. Как белка в колесе,
он крутит свой вообразимый рок.
Но слог его, высокий, как порог,
выводит с освещенного крыльца
в каком-то заполярье без конца,
где всё стрекочет с острия копья
кузнечиком в траве небытия.
И если мы туда скосим глаза,
то самый звук случаен, как слеза.

.....

СТЕЛЫ И НАДПИСИ

1982

.....

*Нине Брагинской,
проникновенно изучившей
этот предмет*

Мальчик, старик и собака

Мальчик, старик и собака. Может быть, это надгробье женщины или старухи.

Откуда нам знать,
кем человек отразится, глядя в глубокую воду,
гладкую, как алебастр?

Может, и так:
мальчик, собака, старик.
Мальчик особенно грустен.

- Я провинился, отец, но уже никогда не исправлюсь.
– Что же, – старик говорит, – я прощаю, но ты не
услышишь.

Здесь хорошо.

– Здесь хорошо?..

– Здесь хорошо?.. –

в коридорах
эхо является.

- Вот, ты звал, я пришел.

Здравствуй, отец, у нас перестроили спальни.

Мама скучает. – Сын мой, поздний, единственный,

слушай,

я говорю на прощанье: всегда соблюдай благородство,
это лучшее дело живущих...

– Мама велела сказать...

– Будешь ты счастлив.

– Когда?

– Всегда.

– Это горько.

– Что поделаешь,

так нам положено.

Молча собака глядит
на беседу: глаза этой белой воды,
этой картины –
«мальчик, собака, старик».

Женская фигура

Отвернувшись,
в широком большом покрывале
стоит она. Кажется, тополь
рядом с ней.

Это кажется. Тополя нет.

Да она бы сама охотно в него превратилась
по примеру преданья –
лишь бы не слушать:

– Что ты там видишь?

– Что я вижу, безумные люди?

Я вижу открытое море. Легко догадаться.

Море – и всё. Или этого мало,
чтобы мне вечно скорбеть, а вам –

досаждать любопытством?

Две фигуры

Брат и сестра? муж и жена? дочь и отец? все это и больше?
Кто из них умер, кто жив

и эту плиту заказал,
памятник встречи?

Кто и кого на прощанье
хочет запомнить? не робко, не жадно. Запомнить
нужно немного, многого мы не выносим:
горсть родимой земли на чужбине – больше не нужно.
Остальное останется там, где ему хорошо.

Взгляд внимательный, смерть, ты не отнимешь –
законную горсть
у того, кто уходит, о нас печаясь. Кто же уходит?
кто, соскучившись в долгой разлуке, к милой руке
наконец прикасается? –

тень к тени, бывшее к бывшему,
белое к белому. Что они там говорят?

Говорят:

– Это так.

– Я клянусь, это так.

– Так оно было и будет,
даже если не будет. Так.

Прохожий, люби свою жизнь,
благодари за нее. Тени мало что надо:
памятник встречи.

Госпожа и служанка

Женщина в зеркало смотрит: что она видит – не видно;
вряд ли там что-нибудь есть. Впрочем, зачем же тогда
любоваться одним и гадать, как поправить другое
той или этой уловкой? зачем себя изучать?
Видно, что-то там есть. Что-то требует ласковой мази,
бус и подвесок. Молча служанка стоит
в ожидании просьбы, которой она не исполнит.

Да, мы друг друга ни разу не поняли. Это понятно.
Это было нетрудно.

Труднее другое: мы знали
всё о каждом. Всё, до конца, до последней
нежной его бесконечности.

Не желая, не думая – знали.

Не слушая, знали
и обсуждали в уме его просьбу, с которой он к нам
не успел обратиться и даже подумать. Еще бы.

Просьба одна у нас всех;

ничего-то и нет кроме этой
просьбы.

Кувшин, надгробье друга

Хочешь – кувшин, хочешь – копье, хочешь – прялку.

Если лгали про локон, как он на небе нашелся, —

ЛҒАЛИ НЕДАРОМ.

Ум печальный отыщет в мельчайшей вещице

вещество, из которого сложены наши созвездья,

звук беззвучных имен, —

она загорится, совьется,

как гирлянда в гирляндах, ласкающих смертное сердце:

каждый вечер Персей Андромеду спасает – и каждый

знает, какая звезда спасает его, подхватив

того, кто больше не с нами. Что хочешь ему – то отдай.

Хочешь – кувшин, хочешь – копье, хочешь – прялку.

Что подвернется, он больше не просит. И это сумеет

стать как всё: нужно только за всё не цепляться,

положить эти медные деньги. Он сам разберется,

руку поднимет, какой мы здесь не видали,

руку созвездья. Возьми, перевозчик, ты видишь,

КАК МЫ ЖИВЕМ НА ЗЕМЛЕ:

Прялка. Плуг. Копье. Кувшин.

Играющий ребенок

И в предчувствии мы проживаем
то, чего жить не придется. Великую славу.
Брачную ночь. Премудрую, бодрую старость.
Внуков – детей того сына, которого нет.
Нет, не пустая мечта человеческим сердцем играет.
Знает ребенок, зачем он так странно утешен.
Чем он играет.

Мы не видим лица. Мы глядим на него, как из двери
мать поглядела – и тут же спокойно уходит:
он играет. Белый луч на полу.

– Он еще поиграет,
я успею доделать, что нужно.
Время не ждет, он играет.

Перед самым несчастьем предчувствие нас покидает:
это уже не снаружи, это мы сами. Прекрасно
в этой неслышимой музыке, в комнате белой.
Так он в сердце играет,
ребенок, играющий в шашки.

Надпись

Нина, во сне ли, в уме ли, какой-то старинной дорогой
шли мы однажды, как мне показалось, вдоль многих
белых, сглаженных плит.

– Не Аппиева, так другая, –
ты мне сказала, – это неважно. У их городов
мало ли было дорог,
которые к гробу от гроба
переходили.

– Здравствуй! – слышали мы, –
здравствуй! (мы знаем, это любимое слово прощанья).
Здравствуй! как ясно ты смотришь на милую землю.
Остановись: я гляжу глазами огромней земли.
Только отсутствие смотрит. Только невидимый видит.
Так скорее иди: я обгоняю тебя.

.....

Я М Б Ы

1984–1985

.....

Пятые стансы

De arte poetica

1

Большая вещь – сама себе приют.
Глубокий скит или широкий пруд,
таинственная рыба в глубине
и праведник, о невечернем дне
читающий урочные Часы.
Она сама – сосуд своей красы.

2

Как в раковине ходит океан –
сердечный клапан времени, капкан
на мягких лапах, чудище в мешке,
сокровище в снотворном порошке, –
так в разум мой, в его скрипучий дом
она идет с волшебным фонарем...

3

Не правда ли, минувшая строфа
как будто перегружена? Лафа
тому, кто наяву бывал влеком
всех образов серебристым косяком,

несущим нас на острых плавниках
туда, где мы и всё, что с нами, – прах.

4

Я только в скобках замечаю: свет –
достаточно таинственный предмет,
чтоб говорить Бог ведаёт о чем,
чтоб речь, как пыль, пронзенная лучом,
крутилась мелко, путано, едва...
Но значила – прозрачность вещества.

5

Большая вещь – сама себе приют.
Там скачут звери и птенцы клюют
свой музыкальный корм. Но по пятам
за днем приходит ночь. И тот, кто там,
откладывает труд: он видит рост
магнитящих и слезотворных звезд.

6

Но странно: как состарились глаза!
Им видно то, чего глядеть нельзя,
и прочее не видно. Так из рук,
бывает, чашка выпадет. Мой друг,
что мы как жизнь хранили, пропадет –
и незнакомое звездой взойдет...

7

Поэзия, мне кажется, для всех
тебя растят, как в Сербии орех

у монастырских стен, где ковш и мед,
колодец и небесный ледоход, –
и хоть на миг, а видит мирянин
свой ветхий век, как шорох вешних льдин...

8

– О, это всё: и что я пропадал,
и что мой разум ныл и голодал,
как мышь в холодном погребе, болел,
что никого никто не пожалел –
всё двинулось, от счастья очумев,
как «всё пройдет», Горациев припев...

9

Минуто, жизнь, зачем тебе спешить?
Еще успеешь ты мне рот зашить
железной ниткой. Смилуйся, позволь
раз или два испробовать пароль:
«Большая вещь – сама себе приют».
Она споет, когда нас отпоют, –

10

и, говорят, прекрасней. Но теперь
полуденной красы ночная дверь
раскрыта настезь; глубоко в горах
огонь созвездий, ангел и монах,
при собственной свече из глубины
вычитывает образы вины...

11

Большая вещь – утрата из утрат.
Скажу ли? взгляд в медиоланский сад:
приструнен слух; на опытных струнах
играет страх; одушевленный прах,
как бабочка, глядит свою свечу:
– Я не хочу быть тем, что я хочу!

12

И будущее катится с трудом
в огромный дом, секретный водоем...

Элегия, переходящая в реквием

Tuba mirum spargens sonum...

1

Подлец ворует хлопок. На неделе
постановили, что тискам и дрели
пора учить грядущее страны,
то есть детей. Мы не хотим войны.
Так не хотим, что задрожат поджилки
кой у кого.

А те под шум глушилки
безумство храбрых славят: кто на шаре,
кто по волнам бежит, кто переполз
по проволоке с током, по клоаке –
один как перст, с младенцем на горбе –
безвестные герои покидают
отчества таинственные, где

подлец ворует хлопок. Караваны,
вагоны, эшелоны... Белый шум...
Мы по уши в бесчисленном сырце.
Есть мусульманский рай или нирвана
в обильном хлопке; где-нибудь в конце
есть будущее счастье миллиардов:
последний враг на шаре улетит –
и тишина, как в окнах Леонардо,
куда позирующий не глядит.

2

Но ты, поэт! классическая туба
не даст соврать; неслышимо, но грубо
военный горн, неодолимый горн
велит через заставы карантина:
подъем, вставать!

Я, как Бертран де Борн,
хочу оплакать гибель властелина,
и даже двух.

Мне провансальский дух
внушает дерзость. Или наш сосед
не стоит плача, как Плантагенет?

От финских скал до пакистанских гор,
от некогда японских островов
и до планин, когда-то польских; дале –
от недр земных, в которых ни луча –
праматерь нефть, кормилица концернов, –
до высоты, где спутник, щебеча,
летит в капкан космической каверны, –

пора рыдать. И если не о нем,
нам есть о чем.

3

Но сердце странно. Ничего другого
я не могу сказать. Какое слово
изобразит его прискорбный рай? –
Что ни решай, чего ни замышляй,
а настигает сострадания мгла,
как бабочку сачок, потом игла.

На острие чьего-нибудь крушенья
и выставят его на обозренье.

Я знаю неизвестно от кого,
что нет злорадства в глубине его –
там к существу выходит существо,
поднявшееся с горном сострадания
в свой полный рост надгробного рыдания.

Вот с государственного катафалка,
засыпана казенными слезами
(давно бы так!) – закрытыми глазами
куда глядит измученная плоть,
в путь шедше скорбный?...

Вот Твой раб, Господь,
перед Тобой. Уже не перед нами.

Смерть – Госпожа! чего ты не коснешься,
все обретает странную надежду –
жить наконец, иначе и вполне.
То дух, не приготовленный к ответу,
с последним светом повернувшись к свету,
вполне один по траурной волне
плывет. Куда ж нам плыть...

4

Прискорбный мир! волшебная красильня,
торгующая красками надежды.
Иль пестрые, как Герион, одежды
мгновенно выбелит гидроперит
немногих слов: «Се, гибель предстоит...»?

Нет, этого не видывать живым.
Оплачем то, что мы хороним с ним.

К святым своим, убитым, как собаки,
зарытым так, чтоб больше не найти,
безропотно, как звезды в зодиаке,
пойдем и мы по общему пути,
как этот. Без суда и без могилы
от кесаревича до батрака
убитые, как это *нужно было*,
давно они глядят издалека.

– Так нужно было, – изучали мы, –
для быстрого преодоления тьмы. –
Так нужно *было*. То, что нужно *будет*,
пускай теперь кто хочет, тот рассудит.

Ты, молодость, прощай. Тебя упырь
сосал, сосал и высосал. Ты, совесть,
тебя едва ли чудо исцелит:
да, впрочем, если где-нибудь болит,
уже не здесь. Чего не уберечь,
о том не плачут. Ты, родная речь,
наверно, краше он в своем гробу,
чем ты теперь.

О тех, кто на судьбу
махнул – и получил свое.

О тех,
кто не махнул, но в общее болото
с опрятным отвращением входил,
из-под полы болтая анекдоты.

Тех, кто допился. Кто не очень пил,
но хлопок воровал и тем умножил
народное богатство. Кто не дожил,
но более – того, кто пережил!

5

Уж мы-то знаем: власть пуста, как бочка
с пробитым дном. Чего туда ни лей,
ни сыпь, ни суй – не сделаешь полней
ни на вершок. Хоть полстраны – в мешок
да в воду, хоть грудных поставь к болванке,
хоть полпланеты обойди на танке –
покоя нет. Не снится ей покой.
А снится то, что *будет* под рукой,
что быть *должно*. Иначе кто тут правит?

Кто посреди земли себя поставит,
тот пожелает, чтоб земли осталось
не более, чем под его пятой.
Власть движется, воздушный столп витой,
от стен окоченевшего кремля
в загробное молчание провинций,
к окраинам, умершим начеку,
и дальше, к моджахедскому полку –
и вспять, как отраженная волна.

6

Какая мышеловка. О, страна –
какая мышеловка. Гамлет, Гамлет,
из рода в род, наследнику в наследство,
как перстень – рок, ты камень в этом перстне,

пока идет ужаленная пьеса,
ты, пленный дух, изнемогая в ней,
взгляни сюда: здесь, кажется, страшной.

Здесь кажется, что притча – Эльсинор,
а мы пришли глядеть истолкованье
стократное. Мне с некоторых пор
сверх меры мерзостно претерпеванье,
сверх меры тошно. Ото всех сторон
крадется дрянь, шурша своим ковром,
и мелким стратегическим пунктиром
отстукивает в космос: *tuba... mirum...*

Моей ученой юности друзья,
любезный Розенкранц и Гильденстерн!
Я знаю, вы ребята деловые,
вы скажете, чего не знаю я.
Должно быть, так:
найти себе чердак
да поминать, что это не впервые,
бывало хуже. Частному лицу
космические спазмы не к лицу.
А кто, мой принц, об этом помышляет,
тому гордыня печень разрушает
и тербит мозги. Но кто смирен –
живет, не вымогая перемен,
а трудится и собирает плод
своих трудов. Империя падет,
палач ли вознесется высоко –
а кошка долакает молоко
и муравей достроит свой каркас.
Мир, как бывало, держится на нас.

А соль земли, какую в ссоре с миром
вы ищете, – есть та же *Tuba mirum*...

– Так, Розенкранц, есть та же *Tuba mirum*,
есть тот же Призрак, оскорбленный миром,
и тот же мир.

7

Прощай, тебя забудут – и скорей,
чем нас, убогих: будущая власть
глочет предыдущую, давясь, –
портреты, афоризмы, ордена...
Sic transit gloria. Дальше – тишина,
как сказано.

Не пугало, не шут
уже, не месмерическая кукла,
теперь ты – дух, и видишь всё как дух.

В ужасном восстановленном величье
и в океане тихих, мощных сил
теперь молись, властитель, за народ...

8

Мне кажется порой, что я стою
у океана.

– Бедный заклинатель,
ты вызывал нас? так теперь гляди,
что будет дальше...

– Чур, не я, не я!
Уволь меня. Пусть кто-нибудь другой.
Я не желаю знать, какой тоской
волнуется невиданное море.

«Внизу» – здесь это значит «вперед».
Я ненавижу приближенье горя!

О, взять бы всё – и всем и по всему,
или сосной, макнув ее в Везувий,
по небесам, как кто-то говорил, –
писать, писать единственное слово,
писать, рыдая, слово: ПОМОГИ!

огромное, чтоб ангелы глядели,
чтоб мученики видели его,
убитые по нашему согласью,
чтобы Господь поверил – ничего
не остается в ненавистном сердце,
в пустом уме, на скаредной земле –
мы *ничего* не можем. Помогите!

Безымянным оставшийся мученик

– Отречься? это было бы смешно.
Но здесь они – и больше никого.
До наших даже слуха не дойдет,
исключено.
Темница так темница –
до окончанья мира.
Чтобы им
мое терпенье сделалось уроком?
Что им урок – хотелось бы взглянуть!
Их ангелы, похоже, не разбудят,
не то что вот таких, иноязычных,
малютка-смерть среди орды смертей
в военной области.

Никто, увы,
исключено. Никто глазами сердца
мой путь не повторит. Там что решат?
от кораблекрушенья, эпидемий...

Вот напугали, тоже мне: никто.
Чего с них требовать. Они ни разу
не видели, как это небо близко,
но главное – как на больных детей
похоже... Верность? нужно быть злодеем,
чтоб быть неверным. Уж скорей птенца
я растопчу или пинком в лицо

старуху-мать ударю – но тебя,
все руки протянувшие ко мне,
больные руки! Кто такое может.
Я не обижу, Господи. Никто.

Поступок – это шаг по вертикали.
Другого смысла и других последствий
в нем нет.
И разве *вам* они нужны?

Из песни Данте

...И мы пошли. – Maestro mio caro,
padre dolcissimo, signor e duca!
Ни шагу дальше, в области кошмара!

Взгляни: разве по мне твоя наука?
О, я надеюсь: слово нам дано,
воды из глиняного акведука

стариннее; воды, в какую дно
просвечивает в озере, яснее.
Им все умыто и утолено.

Рука поэзии, воды нежнее
и терпеливей – как рука святых –
всем язвы умывает – все пред нею

равны и хороши; в дыханье их
она вмещается, преображая
хрип агонический в нездешний стих...

– Стой! – недосказанному возражая,
он говорит, – и у твоей воды
учись хоть этому: молчать. Сажая

свои невероятные сады,
Садовник ли их менее жалеет,
чем ты? О, ум из нищенской руды,

что от тебя в плавильне уцелеет? –
И тут во мне погасло всё, и вдруг:
так головня бессмысленная тлеет –

и с треском разотрет ее каблук.
В собачий лай и шип многообразный,
как пес, вперед меня понесся слух.

Их было много. Край мой безобразный! –
их было столько, будто кроме них
(рептилии, да страх, да лай заразный)

никто не выпестован на твоих
пространствах достославных. Ширь славянства!
мне показалось: я среди живых...

Те скалятся, а те шипят; пространство
жалят, пугают и клыками рвут,
и постоянство лая постоянно

шипенья разряжает: ибо тут
мотком змеи в разинутые пасти
бес мечет. То-то благодарный труд.

О соловьи казенные... о сласти...
И, жвачкой жалящей уязвлены,
всё с новым воем издыхают власти:

Лови! он враг! он на врагов страны
работает! народное искусство!
должны, должны! а те, кто не должны!.. –

и снова гады их приводят в чувство.
– Я здесь таков, а был тебе знаком –
не узнаёшь? не без шестого чувства

в родном и светлом воздухе земном
я обитал; меня хрустальным звуком
Тот наделил, – и он вильнул хвостом.

– Иные здесь и не знакомы с луком
тех Дельф сверхзвуковых. Но я ловил,
ловил, бывало... – Шмяк! к зубовным стукам

в разинутую шавку угодил.

– В том мире, где наш семицветный спектр, –
он продолжал, – я совесть уходил,

как рыбу палкой: тоже мне, инспектор!
Другие хуже – я стоял на том.
Совесть же – видишь – биоархитектор:

она мне здесь и выстроила дом –
быть жвачкой несжираемой и лютой
для тех, кому служил я соловьем.

Друг красоты! единственной минутой
пожертвуй, чтобы надо мной рыдать,
скорее уж Кайафой, чем Иудой...

– Пора. – И мы пошли. И если вспять,
к знакомой змейке, чуждо изумрудной,
еще искало зренье припадать –

передо мной был только путь подспудный.

Элегия липе

Но следа стопы не оставит
вершиной пахнувший шаг.
Я чувствую, как нарастает
несущий нас кверху размах.

Из стихов школьных лет

К деревьям тоже можно привязаться,
как к человеку, и еще сердечней;
их, может, не придется хоронить –
уж справедливее тогда остаться
тебе, не мне: вы проще, долговечней...
Последний слух и тронуть и унять

как хорошо, когда, подруга-липа,
ты бы явилась. Ваше равнодушие –
конечно, невнимательная ложь.
Кто знает мысли, движимые в листьях?
Глаза ствола кто подстерет? те, ваши
глаза движенья? – равенство и дрожь

и *все равно*, и притяженье света,
особенное вечером ненастным,
когда покажется: сейчас пойму
всё, всё... – и тут прижизненная Лета
впадает в ум, и с лепетом древесным
слова скрываются в родную тьму,

как плавающий взгляд новорожденных:
скорбя о всем, высказывая жалость
еще ничью на языках ничьих...
И много лучше, чем в глазах влюбленных –
или не так? – исчезнуть, отражаясь
в глазах деревьев – в помощи очах

и отпущенья. Дым благоприятный,
рассеиваясь по пути, до неба
доносит только то, что нет его.
Не так ли, липа? цветочные пятна,
все эти ветки, листья и движенья...
Исчезновение – наше существо.

С тех самых пор, как дачную террасу
твоя магнитная сжимала сила
до роковой летающей доски –
и вверх, и вниз, и больше вверх, и сразу
всем вихрем вниз – как будто бы просило
расколошматить сердце на куски,

и поскорее. – Боже неизвестный,
чего ты хочешь, если это правда,
что хочешь ты? огня, пустыни, змей? –
и вниз доска, сама себе не рада...
С тех самых пор я по тоске древесной
прекрасно знаю о тоске моей.

Но ты кивни – и побредут картины –
такие же, из той же жизни тесной –
в несвойственной им золотой пыли:
благословил ли их огонь небесный,

свет неизвестный Славы иль Шехины
за то одно, что были и прошли?

Увы, нас время учит не смиренью,
а недоверью. В этой скорбной школе
блажен, кто не учился до конца!
Того не бросят, с ним идут деревья,
как инструменты музыкальной боли
за причетом фракийского певца.

Вся музыка повернута в родную,
неровную и чуткую разлуку,
которую мы чуем, как слепой, –
по теплоте. И я в уме целую
простую мне протянутую руку –
твой темный мир и бледно-золотой.

.....

КИТАЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

1986

.....

Если притупить его
проницательность, освободить его
от хаотичности, умерить его блеск,
уподобить его пылинке, то оно
будет казаться ясно существующим.

Лао-цзы

1

И меня удивило:
как спокойны воды,
как знакомо небо,
как медленно плывет джонка в каменных берегах.

Родина! вскрикнуло сердце при виде ивы:
такие ивы в Китае,
смывающие свой овал с великой охотой,
ибо только наша щедрость
встретит нас за гробом.

2

Пруд говорит:
были бы у меня руки и голос,
как бы я любил тебя, как лелеял.
Люди, знаешь, жадны и всегда болеют
и рвут чужую одежду
себе на повязки.
Мне же ничего не нужно:
ведь нежность – это выздоровленье.
Положил бы я тебе руки на колени,
как комнатная зверушка,
и спускался сверху
голосом как небо.

3

Падая, не падают,
окунаются в воду и не мокнут
длинные рукава деревьев.

Деревья мои старые –
пагоды, дороги!

Сколько раз мы виделись,
а каждый раз, как первый,
задышается, бегом бежит сердце
с совершенно пустой котомкой
по стволу, по холмам и оврагам веток
в длинные, в широкие глаза храмов,
к зеркалу в алтаре,
на зеленый пол.

Не довольно ли мы бродили,
чтобы наконец свернуть
на единственно милый,
никому не обидный,
не видный
путь?

Шапка-невидимка,
одежда божества, одежда из глаз,
падая, не падает, окунается в воду и не мокнет.
Деревья, слово *люблю* только вам подходит.

4

Там, на горе,
у которой в коленях последняя хижина,
а выше никто не хаживал;
лба которой не видывали из-за туч
и не скажут, хмур ли он, весел, –
кто-то бывает и не бывает,
 есть и не есть.
Величиной с око ласточки,
 с крошку сухого хлеба,
с лестницу на крыльях бабочки,
 с лестницу, кинутую с неба,
с лестницу, по которой
 никому не хочется лезть;
мельче, чем видят пчелы
 и чем слово есть.

5

Знаете ли вы,
карликовые сосны, плакучие ивы?
Отвязанная лодка
не долго тычется в берег –
и ни радость
того, что бывало,
и ни жалость:
все мы сегодня здесь, а завтра – кто скажет?
и ни разум:
одни только духи безупречны,
скромны, бесстрашны и милосердны –
простого восхищенья
 ничто не остановит,
простого восхищенья,
 заходящего, как солнце.
Отвязанная лодка
плывет не размышляя,
обломанная ветка
прирастет, да не под этим небом.

6

Только увижу
путника в одежде светлой, белой –
что нам делать, куда деваться?

Только увижу
белую одежду, старые плечи –
лучше б глаза мои были камнем,
сердце – водою.

Только увижу
что́ бывает с человеком –
шла бы я за ним, плача:
сколько он идет, и я бы шла, шагала
таким же не спорящим шагом.

Лодка летит
по нижней влажной лазури,
небо быстро темнеет
и глазами другого сапфира глядит.
Знаешь что? мне никто никогда не верил.
(как ребенок ребенку,
умирая от собственной смелости,
сообщает: да, а потом зарыли
под третьей сосной).
Так и я скажу:
мне никто никогда не верил,
и ты не поверишь,
только никому не рассказывай,
пока лодка летит, солнце светит
и в сапфире играет
небесная радость.

Крыши, поднятые по краям,
как удивленные брови:
Что вы? неужели? рад сердечно!
Террасы, с которых вечно
видно всё, что мило видеть человеку:
сухие берега, серебряные желтоватые реки,
кустов неровное письмо – любовная записка,
двое прохожих низко
кланяются друг другу на понтонном мосту
и ласточка на чайной ложке
подносит высоту:
сердечные капли, целебный настой.
Впрочем, в Китае никто не болеет:
небо умеет
вовремя ударить
длинной иглой.

Несчастен,
кто беседует с гостем и думает о завтрашнем деле;
несчастен,
кто делает дело и думает, что он его делает,
а не воздух и луч им водят,
как кисточкой, бабочкой, пчелой;
кто берет аккорд и думает,
каким будет второй, –
несчастен боязливый и скупой.

И еще несчастней,
кто не прощает:
он, безумный, не знает,
как аист ручной из кустов выступает,
как шар золотой
сам собой взлетает
в милое небо над милой землей.

Велик рисовальщик, не знающий долга,
 кроме долга играющей кисти:
и кисть его проникает в сердце гор,
 проникает в счастье листьев,
одним ударом, одною кротостью,
 восхищеньем, смущеньем одним
он проникает в само бессмертье –
 и бессмертье играет с ним.

Но тот, кого покидает дух, от кого
 отводят луч,
кто десятый раз на мутном месте
 ищет чистый ключ,
кто выпал из руки чудес, но не скажет:
 пусты чудеса! –
перед ним с почтением
 склоняются небеса.

С нежностью и глубиной –
ибо только нежность глубока,
только глубина обладает нежностью, –
в тысяче лиц я узнаю,
кто ее видел, на кого поглядела
из каменных вещей, как из стеклянных
нежная глубина и глубокая нежность.

Так зажигайся,
теплый светильник запада,
фонарь, капкан мотыльков.
Поговори еще
с нашим светом домашним,
солнце нежности и глубины,
солнце, покидающее землю,
первое, последнее солнце.

Может, ты перстень духа,
камень голубой воды,
голос, говорящий глухо
про ступенчатые сады, –
но что же с плачем мчится
крылатая колесница,
ветер, песок, побережье,
океан пустой –
и нельзя проститься,
негде проститься с тобой.
О, человек простой –
как соль в воде морской:
не речь, не лицо, не слово,
только соль, и йод, и прибой –
не имея к кому обратиться,
причитает сам с собой:
может, ты перстень духа,
камень голубой воды,
голос, говорящий глухо
про небывалые сады.

Неужели и мы, как все,
 как все
расстанемся?

Знающие кое-что
о страсти быстрее конца,
знающие кое-что
о мире меньше гроша –
пусть берут, кому нужен, –
знающие, что эта раковина – без жемчужин,
что нет ни единой спички, свечки, плошки,
кроме огня восхищенья,
знающие, откуда приходят
звучанье и свеченье, –
неужели мы расстанемся, как простые невежды?

Не меньше, чем ивы вырастать у воды,
не меньше, чем воды
следовать за магнитом звезды,
чем пьяный Ли Бо заглядывать
в желтое, как луна, вино
и чем камень опускаться на дно,
любящие быть вместе –

неужели мы расстанемся, как простые
скупцы и грубияны?

Флейте отвечает флейта,
не костяная, не деревянная,
а та, которую держат горы
в своих пещерах и щелях,
струнам отвечают такие же струны
и слову слово отвечает.

И вечерней звезде, быстро восходящей,
отвечает просьба моего сердца:

Ты выведешь тысячи звезд,
вечерняя звезда,
и тысячами просьб
зажжется мое сердце,
мирадами просьб об одном и том же:
просыпайся,
погляди на меня, друг мой вдохновенный,
посмотри, как ночь сверкает...

По белому пути, по холодному звездному облаку,
говорят, они ушли и мы уйдем когда-то:
с камня на камень перебрывая воду,
с планеты на планету перебрывая разлуку,
как поющий голос с ноты на ноту.
Там все, говорят, и встретятся, убеленные млечной дорогой.

Сколько раз – покаюсь – к запрещенному порогу
подходило сердце, сколько стучало,
обещая неведомо кому:
Никто меня не ищет, никто не огорчится,
не попросит: останься со мною!..
О, не от горя земного так чудно за дверью земною.
А потому что не хочется, не хочется своего согрешенья,
потому что пора идти
просить за всё прощенья,
ведь никто не проживет
без этого хлеба сиянья.
Пора идти туда,
где всё из состраданья.

Ты знаешь, я так тебя люблю,
 что если час придет
и поведет меня от тебя,
то он не уведет –
как будто можно забыть огонь?
 как будто можно забыть
о том, что счастье хочет быть
 и горе хочет не быть?

Ты знаешь, я так люблю тебя,
что от этого не отличу
вдох ветра, шум веток, жизнь дождя,
путь, похожий на свечу,
и что бормочет мрак чужой,
что ум, как спичка загло,
и даже бабочки сухой
несчастный стук в стекло.

Когда мы решаемся ступить,
 не зная, что нас ждет,
на вдохновенья пустой корабль,
 на плохо связанный плот,
на чешуйчатое крыло, на лодку без гребцов,
воображая и самый лучший,
 и худший из концов
и ничего не ища внутри:
 там всему взамен
выбрасывают гадалочные кости на книгу перемен.

Кто выдумал пустыню воды?
кто открыл, что вверху война?
кто велел выращивать сады
из огненного зерна?

как соловей — лучше умрет,
 чем не споет, что поет,
чем не напишет на шелке времен,
 что не может целый народ.

Когда ты свистишь в свой свисток,
вдохновенье, когда
между сушей и нашей душой растёт
твоя вода, —

если бы знал он, смертный вихрь,
и ты, пустая гладь,
как я хочу прощенья просить и ноги целовать.

Похвалим нашу землю,
похвалим луну на воде,
то, что ни с кем и со всеми,
что нигде и везде –
величиной с око ласточки,
с крошку сухого хлеба,
с лестницу на крыльях бабочки,
с лестницу, кинутую с неба.
Не только беда и жалость –
сердцу моему узда,
но то, что улыбалась
чудесная вода.
Похвалим веток бесценных, темных
купанье в живом стекле
и духов всех, бессонных
над каждым зерном в земле.
И то, что есть награда,
что есть преграда для зла,
что, как садовник у сада, –
у земли хвала.

.....

НЕДОПИСАННАЯ КНИГА

1990–2000

.....

Бабочка или две их

Памяти Хлебникова

1

Те, кто жили здесь, и те, кто живы будут
и достроят свой чердак,
жадной злобы их не захочу я хлеба:
что другое – но не так.

Но и ты, и ты, с кем жизнь могла бы
жить и в леторасли земной,
поглядев хотя б глазами скифской бабы,
но, пожалуйста, пройди со мной!

Что нам злоба дня и что нам злоба ночи?
Этот мир, как череп, смотрит: никуда, в упор.
Бабочкою, Велимир, или еще короче
мы расцвечивали сор.

Бабочка летает и на небо
пишет скорописью высоты.
В малой мельничке лазурного оранжевого хлеба
мелко, мелко смеются
чьи-нибудь черты.

Милое желание сильнее
силы страстной и простой.
Так быстрее, быстрее! – еще я разумею –
нежной тушью, бесполезной высотой.

Начерти куда-нибудь три-четыре слова,
напиши кому-нибудь, кто там:
на коленях мы, и снова,
и сто тысяч снова
на земле небесной
мы лежим лицом к его ногам.

Потому что чудеса великолепней речи,
милость лучше, чем конец,
потому что бабочка летает на страну далече,
потому что милует отец.

Варлаам и Иоасаф

Старец из пустыни Сенаарской...

Русский духовный стих

1.

Старец из пустыни Сенаарской
в дом приходит царский:
он и врач,
он и перекупщик самоцветов.
Ум его устроив и разведав,
его шлют недоуменный плач
превратить во вздох благоуханный
о прекрасной,
о престранной
родине, сверкнувшей из прорех
жизни ненадежной, бесталанной,
как в лачуге подземельной смех.

Там, в его пустыне, семенами
чуждыми полны лукошки звезд.
И спокойно во весь рост
сеятель идет над бороздами
вдохновенных покаянных слез:
только в пламя засевают пламя,
и листают книгу не руками,
и не жгут лампы над строками,

но твою, о ночь, возлюбленную нами,
выжимают световую гроздь.

Но любого озаренья
и любого счастья взгляд
он без сожаления оставит:
так садовник сажит, строит, правит –
но хозяин *входит* в сад.
Скажет каждый, кто работал свету:
ангельскую он прервет беседу
и пойдет, куда велят.

Потому что вверх, как выпел,
поднимает сердце благодать,
потому что есть любовь и гибель,
и они – сестра и мать.

2.

– Мне не странно, старец мой чудесный, –
говорит царевич, – хоть сейчас,
врач, ты подними меня с постели тесной,
друг, ты уведи от сласти неуместной.
Разве же я мяч в игре бесчестной,
в состязанье трусов и пролаз?

Строят струны, звезды беспокоят.
Струны их и звезды ничего не стоят,
все они отвернуты от нас.

И я руку поднимаю
и дотрагиваюсь – и при мне

рвется человек, как ткань дурная,
как бывает в страшном сне.

Но от замысла их озлобления
не прошу я: сохрани! –
бич стыда и жало умиления
мне страшнее, чем они.

Мне страшнее, старец мой чудесный,
нашего свиданья час,
худоба твоя, твой Царь Небесный,
Царь твой тихий, твой алмаз.

Ветер веет, где захочет.
Кто захочет, входит в дом.
То, что знают все, темнее ночи.
Ты один вошел с огнем.

Как глаза, изъеденные дымом,
так вся жизнь не видит и болит.
Что же мне в огне твоём любимом
столько горя говорит?

Если бы ты знал, какой рукою
нас уводит глубина! –
о, какое горе, о, какое
горе, полное до дна.

3.

И как сердце древнего рассказа,
бьется в разных языках –

не оставивший ни разу
никого пропавшего, проказу
обдувающий, как прах,

из прибоя поколенья
собирающий Себе народ –
Боже правды, Боже вразумленья,
Бог того, кто без Тебя умрет.

Хильдегарда

Патрику де Лобье

– С детских лет, – писала Хильдегарда, –
а теперь мне семьдесят, отец,
и должно быть, легкими шагами парда
из укрытья вышел мой конец –

с детских лет, когда, еще не зная,
для кого, кому наш дар,
но встает душа пустая
и пугает, как пожар –

потому что это правда страшно:
сердце знает свой предел.
Подойти и взять такого брашна
сам никто не захотел! –

с детских лет до этой самой ночи,
до последней, если Бог судил,
если разум знает,
если воля хочет,
если дух непобедим –

вглядываясь в облака и крыши,
в то, чего не миновать,

в то, что минется и станет выше,
чем позволено понять, —

мир, рассыпанный на вещи,
у меня в глазах теряет вид:
в пламя, в сострадание крепкое, как клещи,
сердце схвачено,
и блещет,
как тот куст: горит и не сгорит.

.....

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

1996–2005

.....

Все труды...

Боковые башни, вежи, шпили,
каменная темнота.

Все труды, которые любили
или замыслили на века –

никель и дюраль, стремянки приставные
ростовщицы-высоты! –
нежные глаза Успенья и Софии,
о земля, и те закроешь ты? –

все труды, которые, как надо,
раскидает дикий вихрь...
Или вместе с нашими твои, Пощада,
руки не касались их?

Деревья, сильный ветер

За нами двери закрываются.
И, соблюдая темноту,
они сдвигаются, переменяются
с обычным голосом в неговорящем рту,

деревья бедные, деревья дачные,
деревья ветра, заключенного в зерно:
глаза другие, окончательно прозрачные,
и корни глубже, чем глазное дно.

Не чистый дом и не тепло с мороза,
не драгоценный разговор друзей,
нет, вы, прекрасные, – судьба без отзыва,
язык сердечных крепостей.

И они поднимаются в шелке
над бездарным позором оград
и одни в этом смирном поселке
ничего, ничего не хотят.

То все приплывшие на берега бесславные,
так и не знавшие про благодать,
мы поднимаем руки давние
к тому, чего не миновать.

И стоят, словно сторож их будит
колотушкой какой из стекла:
так пускай же что будет, то будет,
ведь судьба уже кверху ушла!

Или чтобы над смертью многочисленной
трамплин подбрасывал один –
вы думаете, мы за взгляд единомысленный
любое небо отдадим?

И стоят, исполняя присягу,
вызывавшую из зерна:
есть отчизна, подобная стягу,
и она до конца, как война.

И ветер, выпрямившись, режет в полосы
какой-то лампы редкий круг
и возвращает им украденного голоса
тепло и шум, и кровь и звук.

– Отец, ты видишь, всем чего-то надо.
Мне нужно милости твоей.
Или лежать, как рухлядь листопада
непроницаемых корней.

ЧЕТЫРЕ ВОСЬМИСТИШИЯ

1

В неизвестной высоте небесной,
там, где некого искать,
звезды движутся шеренгой тесной,
продолжая влекать —

словно лезвия, полозья
их сияния обнажены —
в то, что слышат прежде всякой просьбы,
прежде всякой тишины.

2. Песенка

В.Полухиной

Мы в тень уйдем и там, в тени,
как в беге корабля,
с тобой я буду говорить,
о тихая земля,

как говорит приречный знак,
целуя ноги рек,
как говорит зарытый клад,
забытый человек.

3.

В.В.Бибихину

Кто любит слово, тот его и знает,
кто любит звук, тому он и звучит:
как в адеманте луч, петляет и бряцает
внезапным росчерком ирид.

И в светлом облаке звучанья
его вознаградит сполна
царей и царств земных напрасное мечтанье,
возлюбленная тишина.

4. И не как свет

Памяти...

«И не как свет умерших звезд доходит» –
как хорошо: и не как свет.

И не как голос по задворкам слуха бродит,
и голос жив, а говорящий – нет,

не как навязчивое наважденье,
не как боготворимый след –
нет, вы являетесь, как первое движенье
руки, перевернувшей свет.

Вечерняя песня

Птицы, вылетевшей из ржи,
с вечером согласованье.
Добрый вечер, милая, свяжи
что с чем хочешь,
покажи
что не жалко: твоего названья
я не знаю. Пусть оно – «сиянье»,
пусть – «бинокли» или «витражи».

Воздух, мелких стеклышек прибор.
В легоньких и юрких чечевицах
или на картинке световой,
где выходят помолиться
птица, роза и святой,
свет нам вырисовывает лица,
как звукоснимающей иглой.

Вот и побеседуем с тобою,
кто нам мил и кто не мил.
То, что мне казалось тетивою, –
лишь цезура крыльев: скрыл, открыл...
И никто не скажет, где другое,
где свой клад пират зарыл.

От воздушного прибоя
тех уж нет, а те... пустое,
как Саади говорил.

Вечер, вечер, путника исканье,
ты взлетаешь с присвистом, как ткани
разрываемой куски
из колосьев, тронувши руками
руки слуха или сердце рук.
Так кивает другу друг,

а друзья должны быть далеки –
правда ведь? как предсказанье,
как флотилья, выйдя из реки,
на своем пути, в воздушном океане.

Вениамин

Анне Великановой

Позову, и сердце радо:
мята, мед, имбирь и тмин.
Дней скудеющих услада,
гость земли, Вениамин.

В час рожденья из колодца
смотрит выпуклая ртуть
и у губ она смеется,
как кормилицына грудь.

О Творец, в Твоих ущельях,
в тишине Твоих пустынь,
на раскаченных качелях
звезд, со стен Твоих твердынь

посмотри на кудри эти:
видишь ли, как вижу я,
будто все, кто дышат, — дети,
все, кто смотрят, — сыновья;

ибо каждый, кто обидит,
прикоснется к чаше сей.
О, не это ли увидит,
прячась в скалы, Моисей?..

Позову – и обернется,
и стоит, как все, один.
Час рожденья – час сиротства
и вдовства, Вениамин.

Колыбельная

Поют, бывало, убеждают,
что время спать, и на ходу
мотают шерсть, и небо убегает
в свою родную темноту.

Огонь восьмерками ложится,
уходят в море корабли,
в подушке это море шевелится:
в подушке, в раковине и в окне вдали.
И где звезды рождественская спица?
где бабушка, моя сестрица?
мы вместе долго, долго шли
и говорим:

смотри, какой знакомый,
какой неведомый порог!
Кто там соскучился? кто без детей и дома,
как в чистом поле, одинок?

Мы не пойдем, где люди злые,
куда не велено ходить,
но здесь, где нам постели застелили
и научили дружно жить,

мы не расстанемся.
В окне лицо мелькнуло.
У входа нужно обувь снять.
Звезда вечерняя нам руки протянула,
как видящая и слепая мать.

Деревня в детстве

Непонятные дети, и холод, и пряжа,
конский след и неведомый снег
говорили: у вас – мы не знаем, у нас же
восемнадцатый, кажется, век.

И сейчас я подумать робею,
как посмотрит глазами пещер
тридесатое царство, страна Берендея
и несчастье, несчастье без мер.

О, такое несчастье, что это, казалось,
не несчастье, а верная весть:
ничего на земле, только горе осталось;
правда – горе за горем и есть.

Это огненной птицы с узорами рая
бесконечное слово: молчи!
В рот какой же воды набирая,
мы молчим, как урод на печи?

Тени всюду мне близки, но там эти лица
собирались и ночью и днем,
приучая терпеть и молиться
или что-нибудь сделать с огнем.

И от родины сердце сжималось,
как земля под полетом орла,
и казалось не больше земли – и казалось,
что уж лучше б она умерла.

Памяти отца Александра Меня

Отче Александр, никто не знает
здесь о том, что там.
Вряд ли кто-то называет
то, что сердце забывает,
как назвать,
каким словам
сделаться без звука, без сказанья,
как открытая рука...
Вашей радости название
выглядит, как солнце в облака:

это называется любовью,
для которой нет чужих.
Врач, стоящий в изголовье,
пламя нежного здоровья
он зажег уже в больных.

Ливень не зальет,
и ветер не задует,
не затопчет человек.
И не так он страшен, как малюют,
этот мир и этот век.

.....

ЭЛЕГИИ

1987–2004

.....

Элегия осенней воды

*Памяти Сергея Морозова
и Леонида Губанова*

1

Ты становится *вы*,
 вы все,
 они.

Над концами их, над самоубийством
долго ли нам стоять, слушая, как с вещим свистом
осени сокращаются дни?

2

Зима и старость глядят в лицо мне. Не по-людски
смелыми глазами глядят зима и старость:
нужно им испробовать, что там осталось,
на волчий зуб, на зуб уничтожающей тоски.

3

Поднимись, душа моя, встань, как Критский
 Андрей говорит.
Поздно, не поздно – речь
не наша, пусть ее от других услышат.
Зима и старость белое слово пишут
в воздухе еще жарком: пламя незримых свеч

4

в темноте еще зримой; будущие следы
на снегу, до которого долго. Сережа, Леня,
помните, как земля ахнет на склоне,
увидав внизу
факел предзимней воды?

5

Со старым посохом я обхожу всё те
же нивы, как всегда несжатые, тайфуны
земляного моря, слабые водные струны,
от которых холмы раскатились, в высоте

6

повторяя звук родника, похожий на... да,
молоточки какие-то, из восточных. –
То ли волосяные гребенки во рту проточных
вод, из молчания выходящих сюда.

7

Из огня молчания в бледном огне
шелеста – бренчанья – полупенья
вниз глядит вода,
вниз идет согбенная.
Обратясь ко мне,
кто-то говорит:
Есть ли что воды смиренней?

8

Что смиреннее воды? она
терпенья терпеливей, она, как имя Анна,

благодать, подающий нищий, все карманы
вывернувший перед любым желаньем дна.

9

Всякую вещь можно открыть, как дверь.
В занебесный, в подземный ход потайная дверца
есть в них.

Ее нашарив, благодарящее сердце
вбежит – и замолчит на родине.

Мне теперь

10

кажется,
что ничто быстрее туда
не ведет, чем эта, сады пустые,
растенья
луговые, лесные, уже не пьющие, –
чем усыпление
оббегающая бессонная вода

11

перед тем, как сделаться льдом, сделаться сном,
стать как веки, стать как верная кожа
засыпавшего в ласке, видящего себя вдвоем
дальше во сне...
Вещи, в саду своем
вы похожи на любовь – или она на вас похожа?

12

Поэт – это тот, кто может умереть
там, где жить – значит: дойти до смерти.

Остальные пусть дуруют кого выйдет.

На пустом конверте
пусть рисуют свой обратный адрес.

ОдолеТЬ

13

вечное любознательство и похоть – по нам ли труд,
Муза, глядящая вымершими глазами
чудовищного коня, иссекшего водное пламя
из скалы, на которой не живут

14

ни деревья, ни звери, ни птицы. Только вы,
тонкие тени. И вы, как ребенок светловолосый,
собирающий стебли белесой

святой

сухой

травы.

15

С этим-то звуком смотрят Старость, Зима и Твердь.
С этим свистом крылья по горячему следу
над государствами длинными, как сон,
трусливыми, как смерть,
нашу богиню несут –
Музу Победу.

Элегия смоковницы

Ивану Жданову

Дерево, Ваня, то самое, смоковницу ту
на старой книжной гравюре, на рыхлой бумаге верже
узнаёшь? Листья еще сверкают, ветки глотают свою высоту,
но время вышло. Гнев созрел. Слово в горле уже.

*

– Бедная! – говорю я в себе, – ты свое заслужила.
Ты масла с собой не взяла, ты терпенья в ум не вложила
и без факела выйдешь, без факела выйдешь – позор! –

*

к Тому, кто не извещал ни о дне, ни о часе,
но о том, что небо нуждается в верности,
светильник – в масле,
жажда – в плодах.

Остальное приходит, как вор.

*

Вот и не войдешь в дом этой свадьбы, в среду ликованья.
И не пролешь, обмирая от недоброго предсказания,
дорогой аромат, за который ты отдала

*

всё, что имела.
И не проводишь его на мученье,

чувствуя, как сыновнее предпочитают почтение
всей надежде и помощи.

И как смерть подошла

*

не изнутри, но требуя приказанья:

– Открыто,

войди!

И всё, что прежде: что осмеяно, оплевано, бито,
что чужим достанется, как нешитый хитон.

*

А ты выбирала, безумная, жить. – Правда, любой выбирает
жить и смотреть без конца, как весна идет, птицы играют,
птенцов выводят, колосья блестят, шумит каменистый

Кедрон...

*

– Я просил, – ты помнишь, Он говорил? –

что Я дам, дело другое, дело не ваше.

Я болен – кто навестил меня?

Я пить хочу – где чаша?

Лисы язвины имут и птицы гнездо, Я стучу – где мой дом?

*

...С огнем

или без огня удаляясь, в темноте не видна уже юродивая

дева.

Я вижу внутри, в темноте, чудным гневом убитое дерево
и не вижу того, кто сказал бы ему: Поделом! –

*

и кто от надежды долгой и бесплодной,
от неверного утомительного труда

выбегит как сумасшедший:

вон из жизни свободной!

куда угодно,

прежде чем посох ударит со словом: Куда!

*

Что же делать нам, друг, что делать, брат, какое

забытье придет? Или оно, как факир,

выдернет из-под рваной полы стаю птиц, изумруд, полотно
золотое?

О, внутри, где их нет, они лучше.

Когда их не ждут, они лучше, чем мир.

*

Кто просит – однажды получит.

Кто просит прощенья –

однажды будет прощен. Кто от стыда не поднимет лица –
тот любимее всех. Сердце ему обнимает лишение,
как после долгой разлуки жениха обнимают или отца.

Земля

Сергею Аверинцеву

Когда на востоке вот-вот загорится глубина ночная,
земля начинает светиться, возвращая

избыток дарёного, нежного, уже не нужного света.
То, что всему отвечает, тому нет ответа.

И кто тебе ответит в этой юдоли,
простое величье души? величье поля,

которое ни перед набегом, ни перед плутом
не подумает защищать себя: друг за другом

все они, кто обирает, топчет, кто вонзает
лемех в грудь, как сновиденье за сновиденьем, исчезают

где-нибудь вдали, в океане, где все, как птицы, схожи.

И земля не глядя видит и говорит: – Прости ему, Боже! –

каждому вслед.

Так, я помню, свечку прилаживает к пальцам
прислужница в Пещерах каждому, кто спускается

к старцам,

как ребенку малому, который уходит в страшное место,
где слава Божья, – и горе тому, чья жизнь – не невеста,

где слышно, как небо дышит и почему оно дышит.

– Спаси тебя Бог, – говорит она вслед тому, кто ее не
слышит...

... Может быть, умереть – это встать наконец на колени?
И я, которая буду землей, на землю гляжу в изумленье.

Чистота чище первой чистоты! из области ожесточенья
я спрашиваю о причине заступничества и прощенья,

я спрашиваю: неужели ты, безумная, рада
тысячелетиями глотать обиды и раздавать награды?

Почему они тебе милы, или чем угодили?

– Потому что я есть, – она отвечает. –

Потому что *все мы были*.

Начало

В первые времена, когда земледельцы и скотоводы
насеяли землю и по холмам
белые стада рассыпались,
обильные, как воды,
и к вечеру прибивались
к теплым берегам, —

перед лицом народа, который еще не видел
ничего подобного Медузиному лицу:
оскорбительной,
уничтожающей обиде,
после которой,
как камень ко дну,
идут к концу, —

перед лицом народа, над размахом пространства,
более свободного, чем вал морской
(ибо твердь вообще свободнее: постоянство
глубже дышит и ровней,
и не тяготится собой) —

итак, в небосводе, чьи фигуры еще неизвестны,
не именованы, и потому горят, как хотят,
перед лицом народа
по лестнице небесной

над размахом пространства
над вниманьем холмов, которые глядят
на нее,
на первую звезду,
с переполненной чашей ночи
восходящую по лестнице подвесной, –
вдруг он являлся:
свет, произносящий, как голос,
но бесконечно короче
все те же слоги:
Не бойся, маленький!
Нечего бояться:
я с тобой.

Музыка

Александру Вустину

У воздушных ворот, как теперь говорят,
 перед небесной степью,
где вот-вот поплывут полубесплотные солончаки,
в одиночку, как обыкновенно, плутая по великолепию
ойкумены,
коверкая разнообразные языки,

в ожидании неизвестно чего: не счастья, не муки,
не внезапной прозрачности непрозрачного бытия,
вслушиваясь, как сторожевая собака, я различаю звуки –
звуки не звуки:

прелюдию к музыке, которую никто не назовет: моя,

ибо она более чем ничья:
музыка, у которой ни лада ни вида,
ни кола ни двора, ни тактовой черты,
ни пяти линеек, изобретенных Гвидо:
только перемещения недоступности и высоты.

Музыка, небо Марса, звезда старинного боя,
где мы сразу же и бесповоротно побеждены
приближением вооруженных отрядов дали,
ударами прибоа,
первым прикосновением волны.

О тебе я просила на холме Сиона,
не вспоминая
ни ближних, ни дальних,
никого, ничего –
ради незвучащего звука,
ради незвнящего звона,
ради всевластья,
ради всестрастья твоего.

Это город в середине Европы,
его воздушные ворота:
кажется, Будапешт,
но великолепный вид
набережных его и башен я не увижу, и ничуть не охота,
и ничуть не жаль. Это транзит.
Музыка, это транзит.

Все пройдет, все пропадет, все мягко, мягко стелет...
Но прежде усыпления,
прежде ускоряющегося соскальзывания с высоты –
знаменитый походный оркестр,
музыка Пети Ростова, которого наутро застрелят,
готовится к выходу из-за полога космической глухоты.

И каждый – ее дирижер.
Ну, валяй моя музыка! сначала эти,
как они? струнные, все вместе.

Хорошо.

Теперь – виолончель,
то есть душа моя: самый надежный звук на свете,
не целясь попадающий в цель.

И теперь:

клекот лавы в жерлах действующего вулкана,
стрекот деревенского запечного сверчка,
сердце океана, стучащее в груди океана,
пока оно бьется, музыка, мы живы,
пока ни клочка

земли тебе не принадлежит,
ни славы, ни уверенья, ни успеха,
пока ты лежишь, как Лазарь у чужих ворот,
сердце может еще поглядеться в сердце, как эхо в эхо,
в вещь бессмертную,
в ливень, который, как любовь, не перестает.

Памяти поэта

Главное – величие замысла,
как говорит Иосиф.

Из письма А.Ахматовой

1

Уставившись в небо,
в пустые черты
в прямую, как скрепа,
лазурь слепоты,
как взгляд берет внутрь,
в свой взвившийся дым
скарб, выморок, утварь,
всё, что перед ним, –

как лоно лагуны,
звук, запах и вид
загробные струны
сестер Пиерид
вбирают, вникая
в молчанье певца
у края
изгнания,
за краем конца –

2

так мертвый уносит,
захлопнув свой том,
ту позднюю осень
с названием «при нем»,
ту башню, ту арку,
тот дивный проем,
ту площадь Сан Марко,
где шли мы втроем.

3

Не друг, не попутчик
(не брат? не собрат?),
в бряцанье созвучий
родной звукоряд
державший,
как тот,
кто решил наперед,
что жизнь
не заманит
и смерть
не собьет, —

как руль — корабельщик,
как конный — бразды,
как путники —
угол
земли и звезды:

всё мимо, всё меньше:
молельня, базар...

Звук – странная вещь: Мель-
хиор. Балтазар.
Заставы. Нагорья.
Секретный союз.
Звук – странное горе:
служение Муз.

Чего же искал он,
дух, бросивший всех:
рог, верящий в Карла?
Дым, ищущий: вверх!

4

О да, мы рождались
на равнинах других,
где древняя жалость,
не видя живых,

с хребтом перебитым –
к таким, как сама
(не Дева Обида:
косолапая тьма) –

к забытым,
забитым,
к незашто убитым,
к сведенным с ума...

Смерть – нерусское слово.
Как там Пауль писал?
Смерть – немецкое слово,
но русское слово – тюрьма.

5

Гребец на галере,
кощей на цепи,
этапник в безмерной,
безмерной степи
тоску свою вложат
в то, жгущее всех:
вверх!
здесь невозможно
без этого: вверх!
Иначе,
сглотив наше вечное «Нет!»,
котел твой и нож твой,
позор – людоед.

6

Как дверца,
открытая птице лесной,
как сердце,
враждебное тяге земной, –
от всех гравитаций
отвязанный плот.
Кто сможет остаться,
как он поплывет?

7

То дым не пожарищ,
не горных атак,
не сёл, выдыхающих
душу во мрак,

не тленья,
не гари, не огненных мук,
дым – вечер моления,
он, как Шива, сторук.

8

Вначале шатаясь
на ватных ногах,
клубясь, утыкаясь,
петляя в кустах –
и над всею потравой,
над долинами слёз
– О Господи, слава
Тебе – занялось! –
он встанет на колени,
словно сердце царей,
дым благословенный
земных алтарей.

9

...Вечернее море,
отрада Сафо,
звезда за звездою,
строфа за строфой...
Там больше не вспомнят,
кто умер, кто жив.
Усталый наемник,
волов отрезив...
Что чище того,
что сгорело дотла?
что бездне нет дна и
звездам нет числа...

Как дети играют:
«Чур, первую мне!» –
у края
создания, в заочной стране –

забвения мак,
поминания мед
кто первый уйдет,
пусть с собой и берет –

туда, где, как сестры,
встречает прибой,
где небо, где остров,
где: Спи, дорогой!

.....

НАЧАЛО КНИГИ

.....

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ИОАННУ ПАВЛУ II

1. Дождь

– Дождь идет,
а говорят, что Бога нет! –
говорила старуха из наших мест,
няня Варя.

Те, кто говорили, что Бога нет,
ставят теперь свечи,
заказывают молебны.
остерегаются иноверных.

Няня Варя лежит на кладбище,
а дождь идет,
великий, обильный, неоглядный,
идет, идет,
ни к кому не стучится.

2. Ничто

Немощная,
совершенно немощная,
как ничто,
которого не касались творящие руки,
руки надежды,
на чей магнит

поднимается росток из черной пашни,
поднимается четверодневный Лазарь,
перевязанный по рукам и ногам,
в своем сударе загробном,
в сударе мертвее смерти:

ничто,
совершенное ничто,
душа моя! молчи,
пока тебя *это* не коснулось.

3. Sant Alessio. Roma

Римские ласточки,
ласточки Авентина,
когда вы летите,
крепко зажмурившись

(о как давно я знаю,
что все, что летит, ослепло –
и поэтому птицы говорят: Господи!
как человек не может),

когда вы летите
неизвестно куда неизвестно откуда
мимо апельсиновых веток и пиний...

беглец возвращается в родительский дом,
в старый и глубокий, как вода в колодце.

Нет, не все пропадет,
не все исчезнет.
Эта никчемность,
эта никому-не-нужность,
это,
чего не узнают родная мать и невеста,
это не исчезает.
Как хорошо наконец.

Как хорошо, что всё,
чего так хотят, так просят
за что отдают
самое дорогое, –

что всё это, оказывается, совсем не нужно.

Не узнали – да и кто узнает?
Что осталось-то?
язвы да кости,

Кости сухие, как в долине Иосафата.

Письмо

*To: Professor Donald Nicholl
'Rostherne', Common Lane, Cheshire, UK*

Здесь, где Вы так и не побывали, Доналд,
в этой стране,
которую Вы так любили
и от которой у нас
ноет уже не сердце, а что-то попроще,
в нашей невыносимой стране
я вспоминаю Ваш дом
на Общей Лужайке,
простой и достойный дом рабочего человека
и Дороти с чаем на подносе
и светлую Вашу кончину.

Святая Русь, Вы говорили,
Китежский град,
где Преподобный делит хлеб с медведем,
где пасхальный Серафим
говорит: Здравствуй, радость моя!
и от его улыбки
загорается звездами дневное небо,
где каторжные молятся за своих конвойных...

Теперь, быть может, они Вас встречают, Доналд:
как же они не встретят того, кто так им поверил,

Серафим и Преподобный и те, с Колымы и Магадана,
чьи имена неизвестны и чьи лица,
как Вы говорили,
сложатся в лик Святого Духа.

Доналд,
сердце мое жестоко,
как земля, по которой прокатили тяжелые танки,
если что на такой взойдет, то не скоро,
лет через двести.

Ваши слова
о том,
что всё устремляется к неотвратимому миру,
как река к океану,
что всё
изменится и простится,
впадая в общую неизмеримую воду,
в бездну милосердия,
о которой мы знаем, –

Ваши слова не проникнут в него глубоко.
Убитой земле
нечем принять и выхаживать семя.

Вот некрасивое страданье,
о котором Вы спрашивали меня
с прямою человека, привыкшего молиться.
Не зло, не обида, Доналд,
это всё довольно легко проходит...

Но здесь
нашей поздней ненастной осенью,

исполненной жалости и согласия,
безумной жалости и безумного согласия,
я вспоминаю Вас
и на другом языке Вашим голосом произносимое слышу
о пасхальном Серафиме,
о Преподобном и его медведе,
о соловецкой молитве,
о шумящей, как северное море,
бездне милосердия.

Колыбельная

Как горный голубь в расщелине,
как городская ласточка под стрехой –
за день нахлопочутся, налетаются
и спят себе почивают,
крепко,
как будто еще не родились –

так и ты, мое сердце,
в гнезде-обиде
сыто, согрето, утешено,
спи себе, почивай,
никого не слушай:

– Говорите, дескать, говорите,
говорите, ничего вы не знаете:
знали бы, так молчали,
как я молчу
с самого потопа,
с Ноева винограда.

Портрет художника в среднем возрасте

Кто, когда, зачем,
какой малярной кистью
провел по этим чертам,
бессмысленным, бывало, как небо,
без цели, конца и названия –
бури трепета, эскадры воздухоплавателя, бирюльки ребенка –
небо, волнующее деревья
без ветра, и сильнее, чем ветер:
так, что они встают и уходят
от корней своих
и от земли своей
и от племени своего и рода:
о, туда, где мы себя *совсем* не знаем!
в бессмысленное немерцающее небо.

Какой известкой, какой глиной
каким смыслом,
выгодой, страхом и успехом
наглухо, намертво они забиты –
смотровые щели,
слуховые окна,
бойницы в небеленом камне,
в которые, помнится, гляди не нагладишься?

Ах, мой милый Августин,
все прошло, дорогой Августин,
все прошло, все кончилось.
Кончилось обыкновенно.

В метро. Москва

Вот они, в нишах,
бухие, кривые,
в разнообразных чирьях, фингалах, гематомах
(– ничего, уже не больно!):
кто на корточках,
кто верхом на урне,
кто возлежит опершись, как грек на луврской вазе.
Надеются, что невидимы,
что обойдется.

Ну,
братья товарищи!
Как отпраздновали?
Удалось?
Нам тоже.

Цивилизация

Американка в двадцать лет...

Молодые люди
умирают на далеких войнах,
в автокатастрофах,
от передозировки и просто от скуки:
дышать-то нечем.

А старики
веселыми говорливыми стайками –
розовыми, палевыми, светлосерыми –
летают по свету на лайнерах,
плавают на теплоходах,
посещают джунгли, степи, музеи и пирамиды,
лечатся только травами,
едят только безвредное,
молодеют,
занимаются гимнастикой, танцами и рисованьем,
иногда помогают бедным
и глядят голубыми глазами:

человек, как известно, смертен –
но из этого правила,
очень вероятно, возможны исключения.

Луг, юго-западный ветер

Кто говорит,
щурится, лепечет, мигает
за этой невыносимой сиренью,
полоумной от красоты,
а ночью включит
соловиное светопреставление?

Кто мелькает,
пробегает, как ветер
по тарусским, среднерусским лугам?
теплый тонкий рваный ветер,
нехотя уходящий
к северным или восточным морям?
Пригибая и отпуская стебли, пробуя, как лепестки и
листья,
бессловесные имена
то ли ангелов, то ли каких-то древних богов,
которые роднее, чем люди,
и всегда мне были понятней.

О Господи, да вот они:
Дрема, Щавель, Куриная Слепота,
Медвежий Глаз, Мышиный Горошек,
Повилика, Нивяник, Кипрей:

вот они, лары мои, пенаты,
 лилии полевые
краше Соломона во славе,
вот они, хранители жизни,
 вот чего не забудешь,
 когда забудешь всё.

Aut nihil

Когда они умирают
или приближаются к смерти,
мои споры с ними кончаются,
и теперь я на их стороне.

На стороне слепцов,
заводящих других слепцов в такую яму,
из которой уже не выбраться;
на стороне скупердяев,
которые сидят у родника и сосредоточенно терпят:
сами не пьют и другим не дадут;
на стороне негодяев,
которые изгаляются над тем, чего не сумели
уберечь, как зеницу ока,
а теперь получай по полной!

Даже это лучше, чем смерть.
Даже это
требует какого-то продолженья,
какого-то счастья,
которого все мы,
слепцы, скупцы, негодяи,
почему-то ждали
и которого
так и не видели.

Ангел Реймса

Франсуа Федье

Ты готов? –
улыбается этот ангел –
я спрашиваю, хотя знаю,
что ты несомненно готов:
ведь я говорю не кому-нибудь,
а тебе,
человеку, чье сердце не переживет измены
земному твоему Королю,
которого здесь всенародно венчали,
и другому Владыке,
Царю Небес, нашему Агнцу,
умирающему в надежде,
что ты меня снова услышишь;
снова и снова,
как каждый вечер
имя мое вызывают колоколами
здесь, в земле превосходной пшеницы
и светлого винограда,
и колос и гроздь
вбирают мой звук –

но все-таки,
в этом розовом искрошенном камне,
поднимая руку,

отбитую на мировой войне,
все-таки позволь мне напомнить:
ты готов?
к мору, гладу, трусу, пожару,
нашествию иноплеменных, движимому на ны гневу?
Все это, несомненно, важно, но я не об этом.
Нет, я не об этом обязан напомнить.
Не за этим меня посылали.
Я говорю:
ты
готов
к невероятному счастью?

Всё, и сразу

«Не так даю, как мир дает»,
не так:
всё, и сразу, и без размышлений,
без требований благодарности или отчета:
всё, и сразу.

Быстрее, чем падает молния,
поразительней,
чем всё, что вы видели и слышали и можете вообразить,
прекрасней шума морского,
гóлоса многих вод,
сильней, чем смерть,
крепче, чем ад.

Всё, и сразу.
И не кончится.
И никто не отнимет.

ПЕРЕВОД ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ

- c. 21 *In pace* – в мире (лат.). Сокращенная формула: *Requiescant in pace!* – Да починут в мире!
- c. 40 *Fleurs du Mal* – Цветы Зла (или же: Больные Цветы) (франц.) – название стихотворной книги Ш.Бодлера.
- c. 65 *Selva selaggia* – частая чаща (ит.). Из стиха Данте («Ад», I, 5): описание пространства, в котором начинается действие «Божественной Комедии».
- c. 83 *писатель чудесем* – агиограф (цсл.), тот, кто пишет повествование о житии святого.
- c. 85 *Chat séraphique, chat étrange* – Кот серафический, кот странный (франц.). Ш.Бодлер. «Кот» («*Dans ma cervelle se promène*», «В моем мозгу прогуливается»).
- c. 95 *O nini, o nini!* – о боги, о боги! (пенаты, боги родного дома) (ит.). Дж. Леопарди. «К Италии».
- c. 127 *Sapienti sat* – Для понимающего (этого) достаточно (лат.).
- c. 233 *выну* – всегда (цсл.).
- c. 236 *Düftig, düftig...du Nächste...du Licht* – Душистый, душистый... о, ближайший... о свет (нем.). Отдельные слова из песни Р.Шумана «Орешник».
- c. 243 *The poetry of earth is never dead.* – Поэзия Земли всегда жива (англ.). Дж.Китс. «Кузнечик и сверчок».
- c. 247 *Волною морскою скрывшаго древле (гонителя мучителя)* – Того, кто покрыл некогда морской волной преследующего тирана (фараона) (цсл.). Первый стих из Канона Великой Субботы.
- c. 276 *For ever separate, and for ever near.* – Навеки раздельно и навеки рядом (англ.). А.Поп. «Опыт о человеке».
- c. 279 *Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig...* – Ах, как ничтожно, ах, как быстро-течно (нем.). Слова хора И.С.Баха.
- c. 283 *Non vogliate negar l'esperienza di retro al sol, del mondo senza gente* –
Не угодно ли вам отказать себе в опыте (оказаться) по ту сторону солнца, в мире без людей? (ит.) – Слова Улисса, побуждающего спутников к последнему плаванью (Данте, «Ад», XXVI, 117–118).

- c. 287 *And then the gradual and dual blue,
as night unite the viewer and the view –*
И затем постепенная и двойственная синева, как ночь, соединяет видящего и видение (англ.). В.Набоков. «Бледное пламя».
- c. 305 *De arte poetica* – Об искусстве поэзии (лат.). Традиционное название сочинений, определяющих существо и законы поэтического ремесла.
- c. 309 *Tuba mirum spargens sonum* – Труба, чудный сея звук (лат.). Первая строка строфы латинского Реквиема:
*Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum
cogit omnes ante thronum –*
Труба, чудный сея звук/ над могилами разных стран,/ гонит всех к престолу (Бога Судии).
- c. 311 *В путь шедшие скорбный* – Отправившись в трудный путь (цсл.). Неточная цитата из православной панихиды: «В путь узкий хождшие прискорбный...».
- c. 314 *tuba... mirum...* – труба... чудный... (лат.)
- c. 315 *Tuba mirum* – Труба, чудный (лат.)
- c. 315 *Sic transit gloria.* – Так преходит слава (лат.). Полная фраза: *Sic transit gloria mundi* – так преходит слава мира сего.
- c. 319 *Maestro mio caro, padre dolcissimo, signor e duca* – Мой дорогой учитель, нежнейший отец, господин и проводник (ит.). Именования, с которыми Данте обращается к Вергилию.
- c. 350 *на страну далеке* – на чужбину, в дальние земли (цсл.). Из притчи о блудном сыне (Лк.15,14).
- c. 382 *лисы язвины имут* – у лисиц есть норы (цсл.): «Лисы язвины имут и птицы небесныя гнезда: Сын же Человеческий не имать где главу подклонити». – «У лисиц есть норы, и у птиц небесных гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить главу» (Мф.9,58).
- c. 400 *судáрь* – головной покров умершего в гробу (цсл.).
- c. 401 *Sant Alessio. Roma* – базилика св. Алексея (Алексея Римского Угодника). Рим. (ит.)
- c. 413 *Aut nihil* – или ничего (лат.). Часть пословицы: *De mortuis aut bene, aut nihil* – Об умерших (следует говорить) или хорошо, или ничего.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
СТИХОТВОРЕНИЙ

А там, далеко, где бормочет вода... (Вещая птица – Азаровка, 8) · 123

Азаровка (1–12) · 119

Актеон (*Когда, раздвигая языческий лес...*) · 53

Алатырь (*Кто знает, не снилось ли это ему?..*) · 134

Ангел Реймса (*Ты готов?..*) · 414

Бабочка или две их (1–2) · 349

Бабочка летает и на небо... (Бабочка или две их, 2) · 350

Баллада (*Он в чащу вступает. И кланяясь в пояс...*) · 29

Баллада продолжения (*И страшно, и холодно стало в лесу... –*
Selva Selvaggia, III) · 70

Бедные, бедные люди!.. (Просьба) · 188

Безымянным оставшийся мученик

(– *Отречься? это было бы смешно...*) · 317

Бесконечное скажут поэты... (Маленькое посвящение

Владимиру Ивановичу Хвостину) · 236

Блудный сын возвратится, Иосиф придет в Ханаан...

(Семь стихотворений, 3) · 226

Боковые башни, вежи, шпильи... (Все труды...) · 359

Болезнь (1–2) · 108

Больной просыпался. Но раньше, чем он... (Болезнь, 1) · 108

Большая вещь – сама себе приют... (Пятые стансы) · 305

Брат и сестра? муж и жена? дочь и отец? все это и больше?..

(Две фигуры) · 298

Будем жить мы долго, так долго... (Дом) · 199

Бусы (*Лазурный бабушкин перстень...*) · 205

Были бы мастера на свете... 212

В винном отделе (*Отец, изъеденный похмелем...*) · 253

В геральдическом саду... (Пастух играет) · 156

В двух шагах от притворенной... (Гости в детстве) · 32

В духе Леопарди (*Ни мощный дух, ни изощренный разум...*) · 95

В каждой печальной вещи... (Заключение) · 201

В кустах (– *Ведь и я...* – Азаровка, 3) · 120

- В метро. Москва (*Вот они, в нишах...*) · 409
- В незапамятных зимах, в неназванных... 47
- В неизвестной высоте небесной... (Четыре восьмистишия, 1) · 362
- В ореховых зарослях много пустых колыбелей... (Горная колыбельная) · 114
- В первые времена, когда земледельцы и скотоводы... (Начало) · 386
- В психбольнице (*Идет, идет и думает: куда...*) · 252
- В пустыне жизни... Что я говорю... (На смерть Владимира Ивановича Хвостина, 2) · 258
- В стеклянной храмине, потом в румяной туче...
(Оснь, огонь и путник) · 245
- В той темноте, где иначе как чудом... (Сновидец) · 138
- В час молчания птиц и печали... (Ветхозаветный мотив) · 38
- В это зыбкое скопленье... 26
- Во Францию два гренадера из русского плена брели... (Походная песня) · 191
- Варлаам и Иоасаф (*Старец из пустыни Сенаарской...*) · 351
- *Ведь и я...* (В кустах – Азаровка, 3) · 120
- Велик рисовальщик, не знающий долга... 336
- Великолепие горит... (Раненый Тристан плывет в лодке) · 162
- Вениамин (*Позову, и сердце радо...*) · 368
- Весна (*Только я сказать хотела...*) · 262
- Ветер прощанья (*Ветер прощанья подходит и судит...*) · 106
- Ветер прощанья подходит и судит...* (Ветер прощанья) · 106
- Ветхозаветный мотив (*В час молчания птиц и печали...*) · 38
- Вечерняя песня (*Птицы, вылетевшей из ржи...*) · 366
- Вещая птица (*А там, далеко, где бормочет вода...* – Азаровка, 8) · 123
- Взгляд кота (I–III) · 117
- Видение (*На тебя гляжу – и не тебя я вижу...*) · 198
- Вода-крестьянка (*Ты гулюшки над старой люлькой...*) · 91
- Возвращение (*Хорошо куда-нибудь вернуться...*) · 195
- Возвращение блудного сына (*Иди, канцона, как тебе велят...* –
Selva Selvaggia, II) · 66
- Восемь восьмистиший (I–VIII) · 92
- Вот она, строгая жизнь, посмотри, на прорехе прореха...* (Плач) · 44
- Вот они, в нишах...* (В метро. Москва) · 409
- Все труды... (Боковые башни, вежи, шпильки...) · 359
- Всё, и сразу («Не так даю, как мир дает») · 416
- Всегда есть шаг, всегда есть ход, всегда есть путь...*
(Семь стихотворений, 5) · 228
- Встреча (*Дом в метели...*) · 261
- Вступление второе (*Где кто-то идет – там кто-то глядит...* –
Тристан и Изольда) · 148

- Вступление первое (*Послушайте, добрые люди...* – Тристан и Изольда) · 145
- Вступление третье (*Я северную арфу...* – Тристан и Изольда) · 150
- Вся красота, когда смеется небо...* (Портрет художника на его картине) · 126
- Выпьем память дивной липы...* (Липа, 2) · 23
- Высокий луг (*На медленном зное подруга лугов...* – Азаровка, 6) · 121
- Вьюга (*За Крестопоклонной, как дело пойдет...*) · 247
- В.В.Бибихину (*Кто любит слово, тот его и знает...* – Четыре восьмистишия, 3) · 364
- Где высота сама себя играет...* (Горная ода) · 231
- Где кто-то идет – там кто-то глядит...* (Вступление второе – Тристан и Изольда) · 148
- Где победитель ляжет без вести...* (In pace) · 21
- Где тени над молю дежурят... 33
- Где-нибудь в углу запущенной болезни...* · 107
- Горная колыбельная (*В ореховых зарослях много пустых колыбелей...*) · 114
- Горная ода (*Где высота сама себя играет...*) · 231
- Госпожа и служанка (*Женищина в зеркало смотрит: что она видит – не видно...*) · 299
- Гости в детстве (*В двух шагах от притворенной...*) · 32
- Грех (*Можно обмануть высокое небо...*) · 184
- Да, мой господин, и душа для души... (Давид поет Саулу) · 221
- Да сохранит тебя Господь... (Отшельник говорит) · 175
- Давид поет Саулу (– Да, мой господин, и душа для души...) · 221
- Датская сказка (*Полночные капли гурьба за гурьбой...*) · 19
- Две книги я несу, безмерно уходя... 97
- Две фигуры (*Брат и сестра? муж и жена? дочь и отец? все это и больше?..*) · 298
- Деревня (*Как если ребенок тому, что живет...* – Азаровка, 7) · 122
- Деревня в детстве (*Непонятные дети, и холод, и пряжа...*) · 372
- Дерево, Ваня, то самое, смоковницу ту... (Элегия смоковницы) · 381
- Деревья, сильный ветер (*За нами двери закрываются...*) · 360
- Детство (*Ночью к нам в гости – башни китайские...*) · 22
- Детство (*Помню я раннее детство...*) · 183
- Дикий шиповник (*Ты развернешься в расширенном сердце страданья...*) · 59
- Для кого приходит радость...* (Сказка, в которой почти ничего не происходит) · 266

Дождь (– *Дождь идет...* – Три стихотворения Иоанну Павлу II, 1) · 399
– *Должно быть, яд в тебя вошел...* (Юдифь) · 50
Дом (*Будем жить мы долго, так долго...*) · 199
Дом в метели... (Встреча) · 261
Другая колыбельная (*Спи, голубчик, не то тебя бросят...*) · 203
Дух тысячи бед обитал в коридорах... (Старый дом – Три зеркала, 2) · 103
Душа воспитала шиповник... (Шиповник) · 18

Едет путник по темной дороге... (Конь) · 180
Елене Шварц (1–2) · 256
Если воздух внести на руках, как ребенка грудного... (Пение) · 89
Есть говоренье о конце... (Миньона) · 48
Есть некий дар, не больший из даров... (Стансы четвертые) · 287
Есть нечто внутри, как летающий прах... (Елене Шварц, 1) · 256
Есть странная привязанность к земле... (Ни темной старины заветные
преданья) · 249

Желание (*Мало ли что мне казалось...*) · 196
Женская доля – это прялка... · 209
Женская фигура (*Отвернувшись...*) · 297
Женщина в зеркало смотрит: что она видит – не видно...
(Госпожа и служанка) · 299
Женщина у зеркала (*Не снизу, а как из-за некоей двери...* –
Три зеркала, 1) · 102

За Крестопоклонной, как дело пойдет... (Вьюга) · 247
За нами двери закрываются... (Деревья, сильный ветер) · 360
Заключение (*В каждой печальной вещи...*) · 201
Здесь было поместье, и липы вели... (Поляна – Азаровка, 2) · 119
Здесь, где Вы так и не побывали, Доналд... (Письмо) · 403
Земля (Когда на востоке вот-вот загорится глубина ночная...) · 384
Зеркало (*Милый мой, сама не знаю...*) · 197
Знаете ли вы... 331
Золотая труба (*Над просохиными крышами...*) · 264

И в предчувствии мы проживаем... (Играющий ребенок) · 301
...И в эту погоду, когда, как вино... (Последний читатель) · 237
И вот в тебе тоска, как в зеркале, гостит... (Взгляд кота, II) · 117
– *И дом поджигают, а мы не горим...* (Сад – Азаровка, 12) · 125
И кто любит, того полюбят... (Слово) · 189
И меня удивило... · 327

- ...И мы пошли. – *Maestro mio caro...* (Из песни Данте) · 319
 И не как свет («И не как свет умерших звезд доходит»... – Четыре
 восьмистишия, 4) · 365
 И пахнут цветы тяжелей, чем всегда... (Лесная дорога – Азаровка, 9) · 123
 И первую – тем, кто толпится у выхода... (Родник – Азаровка, 1) · 119
 И странные картины... (Сын муз) · 157
 И страшно и холодно стало в лесу... (Баллада продолжения –
 Selva Selvaggia, III) · 70
 И так уже страшно – и всё же туда... (Овраг – Азаровка, 10) · 124
 И что ж, бывают времена... (Рыцари едут на турнир) · 152
 И это преддверье Пляд и Гиад... (Небо ночью – Азаровка, 11) · 124
 Ивы (Серебряных, белых, зеленых, седых... – Азаровка, 4) · 120
 Играющий ребенок (И в предчувствии мы проживаем...) · 301
 Идет, идет и думает: куда... (В психбольнице) · 252
 Иди, канцона, как тебе велят... (Возвращение блудного сына –
 Selva Selvaggia, II) · 66
 Из песни Данте (...И мы пошли. – *Maestro mio caro...*) · 319
 Из подозренья, бормотанья... (Кот, бабочка, свеча) · 85
 Из тайных слез, из их копилки тайной... (Проводы – Selva Selvaggia, I) · 65
 Или новостъ – смерть, и мы не скажем сами... (На смерть
 Леонида Губанова) · 260
 К деревьям тоже можно привязаться... (Элегия липе) · 320
 Как горный голубь в расщелине... (Колыбельная) · 406
 Как если ребенок тому, что живет... (Деревня – Азаровка, 7) · 122
 Как из глубокого колодца... 211
 Как не дрогнувши вишни потрогать?.. 34
 Как олень обернулся к нему с человеческой речью... (Первая легенда) · 55
 Как от брошенной гальки... (Московские картинки, 2) · 35
 Как старый терпеливый художник... (Старушки) · 204
 Как темная и золотая рама... (Легенда девятая) · 80
 – Как упавшую руку, я приподнимаю сиянье... · 140
 Карее золото... (Московские картинки, 4) · 36
 Карлик гадает по звездам (Проказа, целый ужас древний...) · 169
 Когда говорю я: помилуй! люблю... 31
 Когда гудит судьба большая... (Легенда шестая) · 62
 Когда кончится это несчастье... (Путешествие) · 206
 Когда мы решаемся ступить... 343
 Когда на востоке вот-вот загорится глубина ночная... (Земля) · 384
 Когда настанет час... (Семь стихотворений, 6) · 229
 Когда они умирают... (Aut nihil) · 413

- Когда победитель, не веря себе...* (Холмы – Азаровка, 5) · 121
Когда, прекрасный кот, ты пробуешь в окне... (Взгляд кота, I) · 117
Когда, раздвигая языческий лес... (Актеон) · 53
Кода (Поэт есть тот, кто хочет то, что все...) · 292
Колыбельная (Как горный голубь в расщелине...) · 406
Колыбельная (На горе, в урочище еловом...) · 194
Колыбельная (Поют, бывало, убеждают...) · 370
Кончен труд, мой бедный, кончен труд...
 (На смерть Владимира Ивановича Хвостина, 1) · 257
Конь (Едет путник по темной дороге...) · 180
Король на охоте (Куда ты, конь, несешь меня?...) · 167
Кот, бабочка, свеча (Из подозренья, бормотанья...) · 85
Крыши, поднятые по краям... 334
Кто говорит... (Дуг, юго-западный ветер) · 411
Кто же знает, что ему судили?.. (Судьба) · 182
Кто забыл, что судьба – это клятва... (Восемь восьмистиший, VI) · 93
Кто знает, не снилось ли это ему?.. (Алатырь) · 134
Кто любит слово, тот его и знает... (В.В. Библихину – Четыре
 восьмистишия, 3) · 364
Кто поверит, что братство и счастье... (Восемь восьмистиший, IV) · 93
Кто родится в черный понедельник... · 210
Кто умеет читать по звездам... (Пир) · 202
Кто, когда, зачем... (Портрет художника в среднем возрасте) · 407
Кувшин, надгробье друга (Хочешь – кувшин, хочешь – копы, хочешь –
 прялку...) · 300
Куда ты, конь, несешь меня?.. (Король на охоте) · 167
Кузнечик и сверчок (Поэзия земли не умирает...) · 243

Лазурный бабушкин перстень... (Бусы) · 205
Легенда вторая (Среди путей, врученных сердцу...) · 60
Легенда двенадцатая (Уже не оставалось никого...) · 132
Легенда девятая (Как темная и золотая рама...) · 80
Легенда десятая (Он быстро спал, как тот, кто взял...) · 130
Легенда одиннадцатая (Никогда, о Господи мой Боже...) · 131
Легенда седьмая (Ты сад, ты сад патрицианский...) · 63
Легенда шестая (Когда гудит судьба большая...) · 62
Лесная дорога (И пахнут цветы тяжелей, чем всегда... – Азаровка, 9) · 123
Летят имена из волшебного рога... 84
Липа (1–2) · 23
Лицинию (Помнишь, апрель наступал? а вот уж в его середине...) · 255
Лодка летит... 333

Луг, юго-западный ветер (*Кто говорит...*) · 411

Любовь молодая глядит из ветвей... (Филемон и Бавкида) · 54

Маленькое посвящение Владимиру Ивановичу Хвостину (*Бесконечное скажут поэты...*) · 236

Мало ли что мне казалось... (Желание) · 196

Мальчик, старик и собака (*Мальчик, старик и собака. Может быть, это надгробье...*) · 295

Медленно будем идти и внимательно слушать... 98

Мельница шумит (*О счастье, ты простая...*) · 173

Милый мой, сама не знаю... (Зеркало) · 197

Миньона (*Есть говоренье о конце...*) · 48

Мне снилось, как будто настало прощанье... (Прощание) · 72

Мне часто снится смерть и предлагает... · 99

Может, ты перстень духа... · 338

Можно обмануть высокое небо... (Грех) · 184

(Молитва) (*Обограй, Господь, Твоих любимых...*) · 215

Молодые люди... (Цивилизация) · 410

Московские картинки (1–6) · 35

Музыка (*У воздушных ворот, как теперь говорят...*) · 388

Мы в тень уйдем и там, в тени... (Песенка – Четыре
восьмистишия, 2) · 363

Мы приезжали на велосипедах к погосту восемнадцатого века... (Сельское
кладбище) · 250

На горе, в урочище еловом... (Колыбельная) · 194

На востоке души, где-то возле блаженных Аравий... (Статуэтка слона) · 239

На медленном зное подруга лугов... (Высокий луг – Азаровка, 6) · 121

На смерть Владимира Ивановича Хвостина (1–2) · 257

На смерть Леонида Губанова (*Или новость – смерть, и мы не скажем
сами...*) · 260

На тебя гляжу – и не тебя я вижу... (Видение) · 198

Над кладкой особняка... (Московские картинки, 5) · 37

Над просохшими крышами... (Золотая труба) · 264

Надпись (*Нина, во сне ли, в уме ли, какой-то старинной дорогой...*) · 302

Начало (*В первые времена, когда земледельцы и скотоводы...*) · 386

Не гадай о собственной смерти... (Утешенье) · 186

Не поминай ко сну... 28

Не снизу, а как из-за некоей двери... (Женщина у зеркала –
Три зеркала, 1) · 102

«Не так даю, как мир дает»... (Всё, и сразу) · 416

- Небо ночью (*И это преддверье Пляд и Гиад... – Азаровка, 11*) · 124
- Северная жена (*С того дня, как ты домой вернулся...*) · 192
- Немошная... (Ничто – Три стихотворения Иоанну Павлу II, 2) · 400
- Непонятные дети, и холод, и пряжа... (Деревня в детстве) · 372
- Несчастен... 335
- Нет, не забудут тебя, если будут кого-нибудь помнить...*
(Елене Шварц, 2) · 256
- *Нет, это не свет был, нет, это не свет...* (Болезнь, 2) · 109
- Неужели и мы, как все... 339
- Неужели, Мария, только рамы скрипят... 27
- Ни ангела, звучащего, как щель... 101
- Ни морем, ни деревом, ни крепкой звездой...* (Семь стихотворений, 2) · 225
- Ни мощный дух, ни изощренный разум...* (В духе Леопарди) · 95
- Ни темной старины заветные преданья (*Есть странная привязанность к земле...*) · 249
- Никогда и ничем не сумею...* (Восемь восьмистиший, VII) · 94
- Никогда, о Господи, мой Боже...* (Легенда одиннадцатая) · 131
- Нина, во сне ли, в уме ли, какой-то старинной дорогой...* (Надпись) · 302
- Ничто (Немошная... – Три стихотворения Иоанну Павлу II, 2) · 400
- Нищие идут по дорогам (*Хочу я Господа любить...*) · 154
- Ночное шитье (*Уж звездное небо уносит на запад...*) · 241
- Ночь (*Сквозь изгородь из роз просовывая руку...*) · 171
- Ночью к нам в гости – баини китайские... (Детство) · 22
- О жизни линиялой, о блюде разбитом, о лестнице шаткой...* (Памяти одной старухи) · 45
- О прошедшем ни слова. Но, сердце, куда мы пойдем...* (Успение) · 39
- О счастье, ты простая...* (Мельница шумит) · 173
- Обида (*Что же ты, злая обида?..*) · 179
- *Обидели меня...* (Московские картинки, 6) · 37
- Обогрей, Господь, Твоих любимых... 215
- Овраг (*И так уже страшно – и всё же туда...* – Азаровка, 10) · 124
- Однажды, когда я умру до конца... 17
- Он быстро спал, как тот, кто взял...* (Легенда десятая) · 130
- Он в чащу вступает. И кланяясь в пояс...* (Баллада) · 29
- Он глаз не поднимает – и вода...* (Предпесня) · 75
- Он ходит по комнате и замерзает...* (Старый поэт) · 141
- Осень, огонь и путник (*В стеклянной хранилке, потом в румяной туче...*) · 245
- Отвернувшись... (Женская фигура) · 297
- Отец, изведенный похмельем... (В винном отделе) · 253

– *Отречься? это было бы смешно...* (Безымянным оставшийся
мученик) · 317

Отче Александр, никто не знает... (Памяти отца Александра Меня) · 374

Отшельник говорит (– *Да сохранил тебя Господь...*) · 175

Падая, не падают... 329

Памяти одной старухи (*О жизни лиялой, о блюде разбитом, о лестнице
шаткой...*) · 45

Памяти отца Александра Меня (*Отче Александр, никто не знает...*) · 374

Памяти поэта (*Уставившись в небо...*) · 391

Пастух играет (*В геральдическом саду...*) · 156

Пение (*Если воздух внести на руках, как ребенка грудного...*) · 89

Первая легенда (*Как олень обернулся к нему с человеческой речью...*) · 55

Песенка (*Мы в тень уйдем и там, в тени...* – Четыре
восьмистишия, 2) · 363

Печаль таинственна, и сила глубока... (Семь стихотворений, 1) · 224

Пир (*Кто умеет читать по звездам...*) · 202

Письмо (*Здесь, где Вы так и не побывали, Доналд...*) · 403

Плакал Адам, но его не простили... 217

Плач (*Вот она, строгая жизнь, посмотри, на прорехе прореха...*) · 44

По белому пути, по холодному звездному облаку... 341

По дороге длинной, по дороге пыльной... 213

По стране давнопрошедшей... (Три богини) · 51

Побег блудного сына (*Ты всё – как сердце после бега...*) · 78

Погляди, как народ умирает... (Восемь восьмистиший, II) · 92

Подлец ворует хлопок. На неделе... (Элегия, переходящая в реквием) · 309

Подражание восточному (*Черной раковиной с кромкой...*) · 24

Позову, и сердце радо... (Вениамин) · 368

– Пойдем, пойдем, моя радость... · 207

Поклянись на огне состраданья... (Восемь восьмистиший, VIII) · 94

Полночные капли гурьба за гурьбой... (Датская сказка) · 19

Полумертвый палач улыбнется... (Восемь восьмистиший, I) · 92

Поляна (*Здесь было поместье, и липы вели...* – Азаровка, 2) · 119

Помни, говорю я, помни... (Посвящение) · 216

Помнишь, апрель наступал? а вот уж в его середине... (Лицинию) · 255

Помню я раннее детство... (Детство) · 183

Портрет художника в среднем возрасте (*Кто, когда, зачем...*) · 407

Портрет художника на его картине (*Вся красота, когда смеется
небо...*) · 126

Посвящение (*Помни, говорю я, помни...*) · 216

Последний читатель (*...И в эту погоду, когда, как вино...*) · 237

- Послушайте, добрые люди...* (Вступление первое –
Тристан и Изольда) · 145
- Похвалим нашу землю... 345
- Походкою кота (как бы само пространство...* (Взгляд кота, III) · 118
- Походная песня (Во Францию два гренадера из русского плена брели...)* · 191
- Поэзия земли не умирает...* (Кузнечик и сверчок) · 243
- Поэт есть тот, кто хочет то, что все...* (Кода) · 292
- Поэт есть тот, кто хочет то, что все...* (Стансы первые) · 275
- Поют, бывало, убеждают...* (Колыбельная) · 370
- Преданья о подвижниках похожи... · 100
- Предпесня (*Он глаз не поднимает – и вода...*) · 75
- Прими, мой друг, устроенную чудно...* (Утешная собачка) · 164
- Про елку-чернавку, про иву-голубку...* (Липа, I) · 23
- Проводы (*Из тайных слез, из их копилки тайной...* –
Selva Selvaggia, I) · 65
- Проказа, целый ужас древний...* (Карлик гадает по звездам) · 169
- Проклятый поэт (– *Ты думаешь, блуждая по кругам...*) · 40
- Пророк (– *Пусть знают, как образ Твой руки ломает...* –
Три зеркала, 3) · 104
- Пророков не было. Виденья были редки...* (Сретение) · 81
- Просьба (*Бедные, бедные люди!..*) · 188
- Прощание (*Мне снилось, как будто настало прощанье...*) · 72
- Пруд говорит... · 328
- Птицы, вылетевшей из ржи...* (Вечерняя песня) · 366
- *Пусть знают, как образ Твой руки ломает...* (Пророк –
Три зеркала, 3) · 104
- Путешествие (*Когда кончится это несчастье...*) · 206
- Путешествие вохвов (*Тот, кто ехал так долго и так вдалеке...*) · 111
- Пятые стансы (*Большая вещь – сама себе приют...*) · 305
- Разве мало я живу на свете?..* (Спор) · 187
- Раненый Тристан плывет в лодке (*Великолепие горит...*) · 162
- Римские ласточки...* (Sant Alessio. Roma – Три стихотворения
Иоанну Павлу II, 3) · 401
- Родник (*И первую – тем, кто толпится у входа...* – Азаровка, I) · 119
- Рыцари едут на турнир (*И что ж, бывают времена...*) · 152
- *С детских лет, – писала Хильдегарда...* (Хильдегарда) · 355
- С нежностью и глубиной... · 337
- С того дня, как ты домой вернулся...* (Неверная жена) · 192
- Сад (– *И дом поджигают, а мы не горим...* – Азаровка, 12) · 125

- Сельское кладбище (*Мы приезжали на велосипедах к погосту
восемнадцатого века...*) · 250
- Семь стихотворений (1–7) · 224
- Серебряных, белых, зеленых, седых... (Ивы – Азаровка, 4) · 120
- Синица на изгороди... (Московские картинки, 1) · 35
- Сказка (*Так она лежит, и говорят...*) · 136
- Сказка, в которой почти ничего не происходит (*Для кого приходит
радость...*) · 266
- Сказочка (*Спи, а мы поговорим...*) · 42
- Сквозь изгородь из роз просовывая руку... (Ночь) · 171
- Слово (*И кто любит, того полюбят...*) · 189
- Слышишь, мама, какая-то птица поет... (Смелый рыбак) · 160
- Смелость и милость (*Солнце светит на правых и неправых...*) · 190
- Смелый рыбак (*Слышишь, мама, какая-то птица поет...*) · 160
- Снится блудному сыну... (Сон) · 200
- Сновидец (*В той темноте, где иначе как чудом...*) · 138
- Солнце светит на правых и неправых... (Смелость и милость) · 190
- Сон (*Снится блудному сыну...*) · 200
- Спи, а мы поговорим... (Сказочка) · 42
- Спи, голубчик, не то тебя бросят... (Другая колыбельная) · 203
- Спор (*Разве мало я живу на свете?..*) · 187
- Среди путей, врученных сердцу... (Легенда вторая) · 60
- Сретение (*Пророков не было. Виденья были редки...*) · 81
- Стансы вторые (*Что делает он там, где нет его?..*) · 279
- Стансы первые (*Поэт есть тот, кто хочет то, что все...*) · 275
- Стансы третьи (*Существование – смутное стекло...*) · 283
- Стансы четвертые (*Есть некий дар, не больший из даров...*) · 287
- Старец из пустыни Сенаарской... (Варлаам и Иоасаф) · 351
- Старушки (*Как старый терпеливый художник...*) · 204
- Старый дом (*Дух тысячи бед обитал в коридорах...* – Три зеркала, 2) · 103
- Старый поэт (*Он ходит по комнате и замерзает...*) · 141
- Статуэтка слона (*На востоке души, где-то возле блаженных Аравий...*) · 239
- Странное путешествие (*Так мы и ехали: то ли в слезах, то ли больно
от белого света...*) · 76
- Судьба (*Кто же знает, что ему судили?..*) · 182
- Существование – смутное стекло... (Стансы третьи) · 283
- Сын муз (*И странные картины...*) · 157
- Так мы и ехали: то ли в слезах, то ли больно от белого света... (Странное
путешествие) · 76
- Так она лежит, и говорят... (Сказка) · 136

Так раскольникам в тмутаракани... (Восемь восьмистиший, V) · 93

Там, на горе... 330

Те, кто жили здесь, и те, кто живы будут... (Бабочка или

две их, 1) · 349

То в теплом золоте, в широких переплетах... 74

Только время доходит сюда – и тогда... 46

Только увижу... 332

Только я сказать хотела... (Весна) · 262

Тот, кто ехал так долго и так вдалеке... (Путешествие волхвов) · 111

Три богини (По стране давнопрошедшей...) · 51

Три зеркала (1–3) · 102

Три стихотворения Иоанну Павлу II (1–3) · 399

Ты всё – как сердце после бега... (Побег блудного сына) · 78

Ты гори, невидимое пламя... 214

Ты готов?.. (Ангел Реймса) · 414

Ты гулюшки над старой люлькой... (Вода-крестьянка) · 91

– Ты думаешь, блуждая по кругам... (Проклятый поэт) · 40

Ты знаешь, я так тебя люблю... 342

Ты развернешься в расширенном сердце страданья...

(Дикий шиповник) · 59

Ты сад, ты сад патрицианский... (Легенда седьмая) · 63

Ты становится вы... (Элегия осенней воды) · 377

У воздушных ворот, как теперь говорят... (Музыка) · 388

Уверение (Хоть и все над тобой посмеются...) · 193

Уж звездное небо уносит на запад... (Ночное шитье) · 241

Уже не оставалось никого... (Легенда двенадцатая) · 132

Успение (О прошедшем ни слова. Но, сердце, куда мы пойдем...) · 39

Уставившись в небо... (Памяти поэта) · 391

Утешенье (Не гадай о собственной смерти...) · 186

Утешная собачка (Прими, мой друг, устроенную чудно...) · 164

Утро в саду (Это свет или куст? я его отвожу и стою...) · 116

Филесмон и Бавкида (Любовь молодая глядит из ветвей...) · 54

Флэйте отвечает флэита... · 340

Хильдегарда (– С детских лет, – писала Хильдегарда...) · 355

Холмы (Когда победитель, не веря себе... – Азаровка, 5) · 121

Холод мира... 218

Хорошо куда-нибудь вернуться... (Возвращение) · 195

Хоть и все над тобой посмеются... (Уверение) · 193

Хочешь – кувшин, хочешь – копье, хочешь – прялку... (Кувшин, надгробье друга) · 300

Хочу я Господа любить... (Нищие идут по дорогам) · 154

Цивилизация (*Молодые люди...*) · 410

Человек он злой и недобрый... · 185

Черной раковины с кромкой... (Подражание восточному) · 24

Четыре восьмистишия (1–4) · 362

Что делает он там, где нет его?.. (Стансы вторые) · 279

Что же ты, злая обида?.. (Обида) · 179

Что же я такое сотворила... · 208

Что поделаю я... (Московские картинки, 3) · 36

Шиповник (*Душа воспитала шиповник...*) · 18

Элегия липе (*К деревьям тоже можно привязаться...*) · 322

Элегия осенней воды (*Ты становится вы...*) · 377

Элегия, переходящая в реквием (*Подлец ворует хлопок. На неделе...*) · 309

Элегия смоковницы (*Дерево, Ваня, то самое, смоковницу ту...*) · 381

Это имя еще не остыло... (Восемь восьмистиший, III) · 92

Это свет или куст? я его отвожу и стою... (Утро в саду) · 116

Юдифь (– *Должно быть, яд в тебя вошел...*) · 50

Я жизнь в порыве жить... 20

Я имя твое отложу про запас... 25

Я не могу подумать о тебе... (Семь стихотворений, 4) · 227

Я северную арфу... (Вступление третье – Тристан и Изольда) · 150

Я так люблю... (Семь стихотворений, 7) · 230

Aut nihil (*Когда они умирают...*) · 413

In pace (*Где победитель ляжет без вести...*) · 21

Sant Alessio. Roma (*Римские ласточки...* – Три стихотворения

Иоанну Павлу II, 3) · 401

Selva Selvaggia (I–III) · 65

Седакова Ольга Александровна
Четыре тома
Том I. Стихи

★

Редактор М.Криммель
Корректор Ю.Королева
Художник А.Райхштейн
Верстка И.Яворский

★

Подготовка электронного издания

Редактор М.Криммель
Дизайн Р.Князев